

4·ЭХО·ECHO

1979·PARIS

Вот мы шли по лесу широк
Душище мы слышали мы слыш
Вот мы шли по лесу широк
Вот мы шли по лесу широк
Вот мы шли по лесу широк
Вот мы шли по лесу широк

Вот мы шли по лесу широк
И слыш дура и слыш
Вот мы шли по лесу широк
Вот мы шли по лесу широк
Вот мы шли по лесу широк
Вот мы шли по лесу широк

Вот мы шли по лесу широк

ЕСНО

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ

ВТОРОЙ
ГОД
ИЗДАНИЯ

4 * 1979
PARIS

Журнал редактируют:
Владимир Марамзин
Алексей Хвостенко

Оформление А.Хвостенко

Copyright © 1979 by review "Echo"

Произведения, распространяемые самиздатом, печатаются
без ведома их авторов.

Directeur responsable N.Secinski

Вся переписка по адресу:

V.Maramzine, 302 rue des Pyrénées 75020 Paris



Анри ВОЛОХОНСКИЙ
Алексей ХВОСТЕНКО

СОБРАНИЕ ПЕСЕН

СУЧКА С СУМОЧКОЙ

Не закрывайте личико тряпицей,
Ведь ничего вам скоро не останется.
Я мог болтаться меж двумя столицами,
Но я не знаю, с кем придется кланяться.

Приятели, кругом одно невежество,
Неверие, и нету информации,
Ах девушки, ах прелесть вашей свежести
Для истины еще одно препятствие.

Гремит ли барабан иль плачет дудочка,
Мне все едино, если это правильно.
Но если рядом ходит сучка с сумочкой,
Я не уверен в том, что это правильно.

Зачем, скажи, я не уверен в будущем?
Ведь прошлое звучит - струна нестройная.
А настоящее я встречу в булочной,
Ах новое, такое непристойное.

Но есть залог, что все прекрасно в будущем,
Не пыль и зной, а облачко приятное.
Волшебный миг - приходит сучка с сумочкой,
В ней каждое движенье непонятное.

Ах, этот миг, ах горькое варение,
Пусть пиво бродит в бочке рядом с солодом.
Ведь жизнь могла быть чистое парение,
Но небо пролилось дождем и холодом.

← На обороте: В парижском зазеркалье. Анри Волохонский (слева) и
Алексей Хвостенко. (Фото А.Хвостенко)

Не стало наслаждений, ни одежд -
Проходит мимо армия в сорочках,
Ее сердца расположились между,
Как будто звук в пятилинейных строчках.

В пяти концах растягивалась нить,
И насекомое не хочет жить,
Оно дышать не хочет, тем не менее
Никто не может знать его намерений.

А.Х.В

МАТРИМОНИАЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Забуть, забыть немедля!
Забудь, забудь навеки!
Забудь о том, что прежде ты пел
Сова сменила перья

Катай мою телегу
Кати ее к закату
Кобыла и раньше немного несла
Вали валун с подводы

Срывай с меня рубашку
Держи меня подальше
Танцуют в поле перепела
Вокруг их маленький птенчик

Подай меня на блюде
Неси меня как рыбу
Ловить меня не стоит труда
Кормить сплошное мученье

Меняй меня на репу
Сажай меня под липу
Куда куда как в солнечный день
Поет в лесу подсолнух

Души меня в объятьях
Пылай своим пожаром
Улитка в чайник прячет рога
Змей там тянет пену

Поймай меня арканом
Плени меня навеки
Над розовым морем вставала луна
Во льду зеленела бутылка вина

Пои меня отравой
Глотай мою цикуту
Сократ вот так же много умел
А умер как чистый философ

Торгуй меня на рынке
Отдай меня задаром
Орел на грифе машет крылом
Прощай моя гитара

А.Х.В.

жалоба повешенного

Ах за что я был повешен?
Боже!
Ах за что я был подвешен?
Боже!
Ах куда я был привешен?
Боже!
Ах за что я был повешен?

Адвокат был изрядный мерзавец и сука,
Прокурора надула знакомая шлюха,
А судью укусила за задницу муха -

Вот за что я был повешен...

Заседатель решил, что я знал, что он пидар,
Заседатель другой дрыхнул, выпивши литр,
Я свидетелю плюнул на празднике в сидр -

Вот за что я был повешен...

Мой палач парень был и хмельной и неловкий,
Не намылил, как принято в Штатах, веревки,
Не хватило, видать, у него тренировки -

Так вот был я и повешен...

Мне сначала дыханье от этого сперло,
Мне петля из пеньки шею вмиг перетерла,
Промочить невозможно в аду будет горло.

Нету правды на планете,
Боже!
Пожалейте меня дети,
Боже!
Я один за всех в ответе,
Боже!
Я один за все в ответе.

А.Х.В.

облака

Вадиму Делоне

Сломали ребята копилку
А в ней полтора пятака
Везут их с конвоем в Бутырку
А в небе плывут облака

Пропала у бабки карета
И нету в седле ящика
Подружка бежала с брюнетом
А в небе плывут облака

Томимся мы утренним светом
В ущелье стекает река
Скучают по зонам поэты
А в небе плывут облака

Не знают ни плана ни сметы
В колхозах его мудака
В полях плодоносят букеты
А в небе плывут облака

Судья замочил адвоката
Отца своего - старика
Рыдают повсюду сироты
А в небе плывут облака

Хозяин упрятал деньжонки
Под крышей в подвал чердака
Он машет руками в кошонке
А в небе плывут облака

Ах жизнь! До чего ж ты чревата
В очко угрожает чека
Я из дому вышел, ребята,
А в небе плывут облака

Я из дому вышел, ребята,
А в небе плывут облака...

А.Х.

Грехопадение адама

Адам в Эдеме, Адам в Эдеме,
Адам в Эдеме живет, как князь.
Он хвалит Бога, он славит Бога,
Имеет с Богом он благую связь.

И Господь, и Господь,
Чтоб Адам к нему громче зывал,
Как-то раз поутру
Он подругу ему даровал.

Господь Адаму придумал даму,
Придумал даму Адаму Бог,
А старый дьявол, и гол, и нагл,
Сказал Адаму, что подарок плох.

Изыди, Сатана, -
Отвечал ему важно Адам,
Не учи, не учи,
Нас противиться явным благам.

В чудесном парке, в прелестном парке
Под солнцем ярким пошел бродить.
Свою подругу он взял под руку
И Божью руку стал благодарить.

Этот срам, этот срам
Сатана не желает терпеть,
И Творцу, и Творцу
Хочет Евою нос утереть.

Ее удвоил, потом утроил,
Четыре раза провел сквозь ад,
Поставил рядом, окинул взглядом,
Сказал: "Ну ладно". И повел назад.

Много дев, юных дев -
Разбежались Адама глаза.
Сотня голых супруг
Расшатала его тормоза.

Адам вначале пожал плечами,
Повел очами, глядит - и вот
На каждом древе по юной деве,
По милой Еве, словно спелый плод.

- Выходи, выходи,
Выходи, наш прекрасный супруг.
Погляди, погляди,
На своих ненаглядных супруг.

Адам в гареме, Адам в гареме,
Теперь в гареме Адам живет.
Не хвалит Бога, не славит Бога,
На Господь-Бога он теперь плюет.

А.Х.В.

О всеобщей инфляции

Едем - не едем, днем и не днем,
Куда-то приедем, что-то споем.
Знаем, напрасно скачем к тебе -
Ты безучастна к нашей судьбе.

Ты променяла деньги на нас,
Много ты хочешь, только не нас.
Грядки с капустой, кучи овчин,
Пусто в кастрюле, кислые щи.

Падает доллар, падает франк,
Иена упала в лопнувший банк,
Драхма не стоит ныне ни су,
Я завещаю, но не несу.

Гульден не гульден, лев - соверен
У гегемона съел суверен, сюзерен.
Камень на камень, кирпич на кирпич,
Умер наш дядя Петр Кузьмич.

Умер наш дядя, жаль нам его.
Он не оставил нам ничего.
Он не оставил нам ничего,
Кроме, как кроме себя самого.

Фунтом гиней может быть пенс.
В лес с Гименеем сбегает бес.
В розовом масле лысый Юань
Гонит монету в бедную Хань.

Зря пред тобою бисер метал,
Золото - жалкий презренный металл,
В банке швейцарской цюрихский гном
С грустью напрасной думал о нем.

Ночь наступила, конь застонал,
Лошадь устала, чуть не упал,
Но о тебе я подумаю вновь.
Денег не жалко, жалко любовь.

Жалко не жалко, жаль не меня,
Жаль не любви мне - жалко коня.
(Ах, как жалко бедное животное,
А на деньги совершенно наплевать!)

А.Х.В.

Фараон

Право, какой упрямый,
Прямо назад, на трон.
Сел он на зверь багряный
И говорит нам: "Вон!" -
Наш фараон.
Фа-фа-фа-фараон.

Экая, право, жаба,
Боже, какой урод.
Рака с ногами краба,
Рыба наоборот.
Наш фараон.
Фа-фа-фа-фараон.

Там пирамид кузнечик -
Сущая саранча
Скачет ему навстречу,
Вечно к нему торча.
О фараон.
Фа-фа-фа-фараон.

Где твои песьи мухи,
Падаль дымит в ладонь.
Жабы слепые глухи,
Тут по пятам-там - вонь.
О фараон.
Фа-фа-фа-фараон.

В Красного моря реку
Клубом из-за угла,
Падая, "ку-ку-реку"
Дула из дула мгла.
О фараон.
Фа-фа-фа-фараон.

Лже все твои пророки,
Тварь твоего рогат.
Брюху, как руки в боки,
Тысячи киловатт.
О фараон.
Фа-фа-фа-фараон.

Есть у него могила -
Пара ступенек вверх.
Варит подруга мыло,
Пара полно на всех.
О фараон.
Фа-фа-фа-фараон.

Хвост, отдавай комету,
Бубен - последний звон.
Был он, его и нету.
Бедный наш фараон.
О фараон.
Фа-фа-фа-фараон.

А.Х.В.

ПРОЩАНИЕ СО СТЕПЬЮ

посв. Л.Н. Гумилеву

Степь, ты полустепь, полупустыня
Все в тебе смешались времена
Слава нам твоя явленна ныне
А вдали Великая стена-стена

Поднимает ветер тучи пыли
Огибает солнца медный круг
Где же вы, кто жили, что тут были
Где же вы, куда, куда исчезли вдруг?

Где телеги ваши и подпруги
Недоуздки, седла, стремена
Удила и дуги, дуги, дуги
Где колена, орды, роды, племена?

Были вы велики непомерно
Угрожали всем, кому могли
Много-многолюдны беспримерно
На просто-то-торах высохшей земли

Что же вы, ужели на задворки
Толпы, куры-куры-куры-кан
Туру-туру турки, тюрки, торки
Кераит-найман-меркит-уйгурский хан?

Где татаб-ойротские улусы
Где бурят-тангутская сися
Ого-го-го-огузы, гузы, гузы
Где-те-тетеперь вас много лет спустя?

Вы же жу-жу-жу в Жуань-Жуане
Вы же ни-ни-ни-ни-никогда
Вы же, знаменитые жужжане
Что же вы, уже-ужели навсегда?

Как же вы лишь Гогам, лишь Магогам
Завещали ваш прекрасный край
Что же вы, раз так жужжите с Богом
Ты струна моя, одна теперь играй

Степь ты, полустепь, полупустыня
Все в тебе смешались времена
Слава нам твоя явленна ныне
А вдали стена, великая стена

А.Х.В.

МОЛЧАНИЕ

Открывает щука рот
А не слышно, что поет
Не поймешь, зачем ей этот самый рот

Открывает рот енот
Он поет, как не поет
Не дудит и не гудит и не поет

Распахнула пасть змея
Не слышна мне речь ея
Ничего совсем ея не слышу я

ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ

Я молод был, имел дуду
Трубил ее, как мог
Тебя же, милая, да-да
Я отыскать нигде не мог
В тот день весенний
Пасмурный день

Я пел как ворох пастуха
Удой махал коня
Тебя же, милая, ха-ха
Не дула прелесть на меня
В тот день весенний
Пасмурный день

Я падал, сидя на суку
Сгубил о пень осла
Тебя же, милая, ку-ку
Лишь страсть к ослушнику спасла
В тот день весенний
Пасмурный день

Я шел с поклажей налегке
Куя в ноге верблюд
Тебя же, милая, хе-хе
Доныне куры не клюют
И в день весенний
Пасмурный день

Да-да, да-да совсем ха-ха
Ку-ку вполне ни-ни
Тебя же, милая моя
Увы, не надо тра-ля-ля
Увы, увы мне
В пасмурный день. *А.Х.В.*

РОМАНС ДЛЯ К.М.

К.М.

Лететь иль плыть к тебе рекою иль по суше,
Нестись или скакать, но в терем твой войти.
Всегда к тебе одной стремятся наши души,
Всегда в тебе одной тебя хотят найти.

Всегда иль никогда - иное побужденье.
Невозвратимый плод запретного плода.
Опять нам дарит друг сердечное движенье,
Желанное ему - чтоб "нет" ответить "да".

Как радостно к тебе ногами двигать руки,
У ваших шалашей расставить свой вигвам.
Не надо нам колес, чтоб ездить друг на друге.
Стремленье наше к вам всегда понятно вам.

А.Х.В.

ЭПИТАЛАМА

Геннадию Снегиреву

Я говорю вам, жизнь красна
В стране больших бутылок.
Здесь этикетки от вина,
Как выстрелы в затылок.

Здесь водка льется из обойм
Похмельной пулей в небо.
Готов поспорить я с тобой,
Что ты здесь прежде не был.

Здесь овцы падают в окоп,
Поет снегирь в полете,
Из птички выросший укроп,
Молитва в миномете.

Верблюд прошедший сквозь коня,
Спросил подругу: Где мы?
Накройте саваном меня,
Ведь я здесь прежде не был.

Она ж сказала: Для войны
Ты б пригодился лучше.
Не прячь, не прячь от всей страны
Свое богатство лучник.

Тебе ж, увы, скажу я: Нет!
Твой слишком лук натянут,
Могу играть с тобой в крокет,
Но жить с тобой не стану.

А.Х.

ПРОЩАЛЬНАЯ

Открывайте шире ворота
У меня во среду суббота
В понедельник тоже суббота
Даже в воскресенье суббота

В январе я вижу октябрь
В декабре я вижу ноябрь
А в июле вижу декабрь
Ох увы, в июле декабрь

Вот приходит май со снежочком
Словно шлюха-бабушка с дочкой
Кажется, пора поставить точку
Самая пора забраться в бочку

Гроб вполне хорошая посуда
Во гробу мне было бы не худо
Моя хата будет с краю
Ничего, скажу, не знаю.

Выройте скорее мне могилку
Положите рядом нож и вилку
Спать я буду на опилках
Ох, червей давить затылком.

Ну пора, товарищи, прощайте
Вы меня совсем не вспоминайте
Никогда не вспоминайте
Ни за что не вспоминайте
Иногда не забывайте.

А.Х.В.

первая песня шарманщика из пьесы "запасной выход"

В селенье загорелся
Большой огромный дом
Сгорел и дом, и средства
Добытые с трудом

В другой большой деревне
Сгорело все до тла
Хошь верь - а хошь не верь мне
От искры из котла

А в мелком городишке
Устроили костер
На самой главной вышке
Пылает до сих пор

Горит, горит селенье
Деревня вся горит
Рыдает население
Смеется и скорбит

Рыдает население
Рыдает весь народ
Сгорели все поленья
И треснул дымоход

Пускай горит колода
Не надо поливать
Веселому наро
На это наплевать

вторая песня шарманщика из той же драмы

В одной стране заморской
В одной большой стране

Стоит огромный остров
Качаясь на волне

Деревья не растут там
Там травы до небес
И птицы рано утром
Летят в соседний лес

Там реки пашут плугом
Копают облака
Висят над всей округой
Ручьи из молока

Там рыб большие твари
С ногами впереди -
Звоните при пожаре
Ноль-ноль, ноль-ноль, ноль-один
Ноль-один.

А.Х.В.

ЛЬЕТ ДОЖДЕМ ИЮНЬ

Льет дождем июнь, льет дождем июнь
А мы с Васей вдвоем под дождем стоим
Мы стоим под дождем и, когда пройдет он, ждем
А когда пройдет он, мы домой пойдем

Под дождем стоять нам резону нет
Мы хотим в кабак, только денег нет
Хоть бы кто-нибудь нас пригласил с собой поесть
Но у нас кто не работает, так тот не ест

А работать мы не хотим никак
На зарплату нам не купить коньяк
Ну а водку пить мы, эстеты, не хотим
Вот потому мы не работа-Им

И сухое вино мы не пьем давно
Так как денег нет даже на кино
Мы б сидели б в кине и мечтали б о вине
Что пьют в киношной сказочной стране

Льет дождь июнь, льет дождем июнь
А мы с Васей вдвоем под дождем стоим
Мы стоим под дождем и, когда пройдет он, ждем
А когда пройдет он, мы домой пойдем

А.Х.

СТРАШНЫЙ СУД

Нам архангелы пропели
Нас давно на небе ждут
Ровно через две недели
Начинаем Страшный суд
На суд, на суд
Архангелы зовут
На суд, на суд
Нас ангелы зовут
На суд, на суд
На самый Страшный суд
На самый Страшный суд

Две недели пролетели
Наступил последний день
Снова ангелы пропели
Было небо - стала темь
На суд, на суд
Нас ангелы зовут
На суд на суд
Архангелы зовут
На суд, на суд
Торопится народ
А мы наоборот

Михаил гремит тромбоном
Гавриил трубит трубой
Рафаил за саксофоном
Уриил дудит в гобой
На суд, на суд
Картавые идут
На суд, на суд
Плюгавые идут
На суд, на суд
Слюнявые идут
Сопливые бегут

Ну-ка грянь жезлом железным
Да по глиняным по лбам
По красивым, по облезлым
По поваленным гробам
На суд, на суд
Покойники идут
На суд, на суд
Полковники идут
За ними под-
Полковники идут
Хреновину несут

В Вавилоне треснет башня
Небеса стоят вверх дном

Все дрожат, а нам не страшно
Пусть смолой горит Содом
А нас, а нас
Давно на небе ждут
Пускай еще
Немного подождут
Пускай сперва
Гоморру подожгут
А нам протянут жгут

Мы невинные младенцы
Двенадцать тысяч дюжин душ
Чистой истины владельцы -
Мы всю жизнь молили чушь.

А нас, а нас
Не тронут в этот час
А нас, а нас
Сперва посадят в таз
Потом слегка
Водю обольют
Вот весь наш Страшный суд.

А.Х.В.

ПОТОП

Завтра потоп
Поберегись, когда наступит потоп
Ведь не спасут тебя ни Папа, ни поп
Когда наступит потоп
И хлынет на землю поток великих вод

Хляби небес
Разверз над ликом суши грозный Творец
И твердь небес мешая с твердью земной
Да будут хлябью одной
Вся та вода, что под тобой и над тобой

Пенный поток
Обрушит дол державных скал гордый рок
Да будут горы первозданной водой
И лишь единый Святой
И Вечный Дух взмахнет крылами над водой

Только того
Кого спасает Сын от гнева Его
Тому открыта дверь ковчега его
Тому и смерть не страшна
Тому ковчегом будет вся его душа

Завтра потоп
И ты не спрашивай, что будет потом

Тебе на этот не ответит никто
Да будет именно то
Исчезнет все и навсегда в пучине вод
А.Х.В.

СВИДАНИЕ

В полночь я вышел на прогулку,
Шел в темноте по переулку,
Вдруг вижу - дева в закоулке стоит в слезах.
Где, - говорю, - тебя я видел?
Кто, мне скажи, тебя обидел, забыл тебя?
Ты - Орландина, ты - судьба моя,
Признайся мне, ведь я узнал тебя.
Да, это я.

Да, мое имя Орландина, ты не ошибся, Орландина,
Знай, Орландина, Орландина зовут меня.
Где-то, сказал, меня ты видел,
Знаешь, что сам меня обидел - забыл меня.
Но для тебя забуду слезы я,
Пойду с тобой, коль позовешь меня,
Буду твоя.

Ах, как хочу тебя обнять я,
Поцеловать рукав от платья,
Ну так приходи ж в мои объятия... И в этот миг
Шерстью покрылся лоб девичий,
Красен стал глаз, а голос птичий, и волчий лик...
Меня чудовище схватило
И сладострастно испустило
Мерзостный крик.

Видишь ли, я не Орландина,
Да, я уже не Орландина,
Знай, я вообще не Орландина,
Я - Люцифер.
Видишь, теперь в моих ты лапах,
Слышишь ужасный серы запах
И гул огня!
Так завопил он и вонзил свой зуб,
В мой бедный лоб свой древний медный зуб,
Сам сатана, сам сатана.

А.Х.В.

МЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ

Некоторые неправильно сомневаются, что восхваление самих себя вредит и никого не украшает. Мы думаем иначе:

Мы всех лучше, мы всех краше
Всех умнее и скромнее всех
Превосходим в совершенствах
Все возможные хвалы

Наконец-то всем на радость
Мы теперь нашли слова такие
Те, что точно отвечают
Положению вещей:

Мы всех лучше, мы всех краше
Всех умнее и скромнее всех
Превосходим в совершенствах
Все возможные хвалы

Мы всех лучше, всех прекрасней
Хор небесный славит песней этой
Свод небесный прославляет
Этой песней сам себя

Действительно, обратите свой взор к небесам. Прислушайтесь к музыке сфер.

Славит Дева Козерога
Хвалит Рыбу Водолей полезный
Скорпиона тоже хвалят
Лев, Телец, Овен и Рак

Золотой Стрелец с Весами
С Близнецами этой песней славит
И мерцаньем восхваляет
Высоту любой звезды:

Мы всех лучше, мы всех краше...

Посмотрите теперь на минералы:

Изумруды, аметисты
Халцедоны и аквамарины
Турмалины, хризолиты
Хризопрасы, бирюза

Жемчугами, перламутром
Ограниченными гранатами
С каждой грани тем прекрасней
Чем сверкает в нем другой:

Наконец-то всем на радость...

Ах, что же сказать о растительном царстве!

Одуванчик и подсолнух
Посмотри, как он себе цветет и
Неизбежным совершенством
Превозносит тонкий пух

И крапива, и терновник
Можжевельник - друг чертополоха
Лопухами восхваляют
Доблесть собственных красот:

Наконец-то всем на радость...

Послушаем и обитателей водной стихии:

Одноклеточные твари
Многоклеточные их собратья
И чешуйчатые гады
И улитки всех мастей

Водоплавающих малых
И больших огромных чудиц моря
Слышен рев самохваленья
В этой песне к небесам:

Мы всех лучше, мы всех краше...

Ну, а кто же не слышал пения замечательных птиц?

Киви-киви, моа-моа
Ископаемые птеродактили
Вместе с птицей эпиорнис
И веселой птицей дронг

Золотыми голосами
В трубы вечного великолепия
Убедительно объявят
Несомненную красу:

Мы всех лучше, мы всех краше...

А вот и представители животного царства:

Те, кто с хоботом и с рогом
Млеконепарнокопытные
Ударяют в легкий панцырь
Чтобы вновь провозгласить:

Наконец-то всем на радость...

Все живое, неживое
Даже полуживое славит
Все, что в нем великолепно
Неизменной полнотой:

Наконец-то всем на радость...

А человек-то, человек...

Человек - венец творенья
Просто-напросто обязан славить
Этой песней совершенства
Что дарованы ему

Этой песней, этим гимном
Громогласнейшим апофеозом
Трубным звуком, чудным гласом
Должен славить сам себя:

Мы всех лучше, мы всех краше...

Отрицанья, колебанья
Утверждения неутверждения
И сомнения сомненья
Мы оставим навсегда

Наконец-то всем на радость...

Этой песней эту песню
Мы похвалим в завершенье песни
Эту песню мы похвалим
Этой песней много раз

Пойте с нами, пойте с нами
Пойте только так и не иначе:
Мы всех лучше, мы всех краше
Одаренней и скромней

А когда мы засыпаем
Вы проснитесь и хвалитесь нами
Чтоб хвала не умолкала
Чтоб всегда была слышна:

Мы всех лучше, мы всех краше
Всех умнее и скромнее всех
Превосходим в совершенствах
Все возможные хвалы

Наконец-то всем на радость
Мы теперь нашли слова такие
Те, что точно отвечают
Положению вещей...

куплеты из пьесы "педант"

Евсей:

Ах руки моей нога
Ах ноги моей сустав
До чего ж болит протез
От ходьбы впотьмах устав

Селяка:

Дуньте в нежные отверстия
Выйдут синие колосья
Незаметны наши действия
Непонятны наши свойства

Обними девицу ручкой
А она ответит ножкой
Заиграет нежной штучкой
Застучит себе кукушкой

Кошка милая откроет
Глазки полные мышей
Если нас с тобою двое
Значит двое крепышей

Если нас с тобою трое
Значит тоньше будет вкус
Будет укус на второе
А на третье будет соус

Евсей:

Ах ноги немного борщ
Головы стеклянный бок
Посреди зеленых рощ
Выплывает мухомор

Не болото муравей
Шишки разного размера
Берегут желудка чай
Ягод красную бруснику

Ты совсем не утопай
Не совсем не загадья
Я наверно не успею
Полюбить хороший дятел

Чай:

Удивительно хорош
Ароматный крепкий чай
До чего же хорошо
Пить ароматный крепкий кофе

Удивительно хорош
Ароматный мой настой
У подножья крепких лошадей
Не обманешь - не продашь

Неувязанный настой
Суеверный и простой...

Педант:

Взять Евсея в оборот
Чтобы чай не остывал
Он совсем его не пьет
Негодяй и саботажник

В этой бабе много куль
Тоже сеялка на вид
Если в чай насыпать соль
Будет кисло и не вкусно

Евсей:

Если я еще не спятил
Значит я еще не спятил
Значит я уж не сумею
Полюбить хороший дятел

А.Х.В.

Игра на флейте

Хочу лежать с любимой рядом
Хочу лежать с любимой рядом
Хочу лежать с любимой рядом
А расставаться не хочу

Моя любимая прелестна
Моя любимая чудесна
Моя любимая небесна
С ней расставаться не хочу

Хочу любить-трубить на флейте
На деревянной тонкой флейте
На самой новой новой флейте
А на работу не хочу

Пускай работает рабочий
Иль не рабочий если хочет
Пускай работает кто хочет
А я работать не хочу

Хочу лежать с любимой рядом
Всегда вдвоем с любимой рядом
И день и ночь с любимой рядом
А на войну я не пойду

Пуускай воюют пацифисты
Пуускай стреляют в них буддисты
Пуускай считают каждый выстрел
А мне на это наплевать

Пойду лежать на барабанах
На барабанах или в бане
Пойду прилягу на Татьяне
Пойду на флейте завывать

Хочу лежать с любимой рядом
Хочу сидеть с любимой рядом
Хочу стоять с любимой рядом
А с нелюбимой не хочу

А.Х.В.

прославление американского
гражданина олега соханевича
и его доблестного побега с
борта Т/Х "россия", а также
о том, как он попал в плен к
туркам и был ими отпущен

В море Черном плавает "Россия"
Вдоль советских берегов,
Волны катятся большие
Вдоль стальных ее бортов.
А с советских полей
Дует гиперборей,
Поднимая чудовищный понт,
Соханевич встает,
В руки лодку берет,
И рискует он жизнью своей.

Как библейский пророк Иона,
Под корабль нырнул Олег,
Соханевич таким порядком
Начал доблестный свой побег.
Девять дней и ночей
Был он вовсе ничей,
А кругом никаких стукачей,
На соленой воде,
Ограничен в еде,
Словно грешник на Страшном суде.

На турецкий выходит берег
Соханевич молодой,
Турки вовсе ему не верят,
Окружая его толпой.
И хватают его,
И пытаются его -
Говори, говорят: Отчего?
Ты не баш ли бузук,
Ты нам враг или друг,
И откуда свалился ты вдруг?

Плыл-приплыл я сюда по водам,
Как персидская княжна,
От турецкого народа
Лишь свобода мне нужна.
Я с неволи бежал,
Я свободы желал,
Я приплыл по поверхности вод,
Я не баш не бузук,
Я не враг и не друг
И прошу не чинить мне невзгод.

Турки лодку проверяли,
Удивлялися веслам
И героя соблазняли,
Чтоб увлечь его в ислам.
Если ты, говорят,
Десять суток подряд
Мог не есть и не пить, и не спать,
То тебе Магомет
Через тысячу лет
Даст такое, что лучше не взять.

Не тревожьте, турки, лодки,
Не дивитесь веслам,
Лучше вместе выпьем водки -
Лишь свобода наш ислам.
В нашей жизни одно
Лишь свободы вино,
И оно лишь одно мне мило,
Мне свобода мила,
Вот такие дела,
И прошу не неволить меня.

Возле статуи Свободы
Ныне здравствует Олег.
Просвещенные народы
Мы друзья ему навек.

Лишь такими, как он,
От начала времен
Восхищается наша земля.
Он прославил себя
И тебя, и меня,
Смело прыгнув за борт корабля.

А.Х.В.

БЕЗ МУЗЫКИ

Эти песни возникли в атмосфере всепьянейшего братства джазовых музыкантов, художников и поэтов в Питере, в начале 60-х годов. Иные джазовые мелодии делались тогда настойчивым лейтмотивом встреч, бесед и прогулок, формулой общения и медитации. Написанные на эти мелодии песни были своеобразным утверждением первенства слова в его мощи и суверенности, утверждением мысли над всерастворяющей музыкальной эйфорией.

Не делая в своих стихах никаких уступок ошеломленному читателю, в песнях авторы разрешили себе просторечие, сюжет и юмор, прямое использование традиционных жанров - баллады, ковбойских куплетов, блюза.

Представ нагими на страницах журнала, без музыки и атмосферы застольного расположения, песни становятся текстом. Но словно Фрина перед судом мудрых старцев, их поэзия завоевывает читателя. Ибо и без музыки сохранила она карнавальное бесстыдство вольности и насмешки, чудесную эквилибристику формального мастерства.

Фигурно иль буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская. Известная примета!
Начнем за здоровье, за упокой
Сведем как раз... -

писал Пушкин. Песни Хвостенко и Волохонского опровергают это шутовское преувеличение. Звучавшие "у бездны на краю", смеясь и пророчествуя, они как бы говорят нам словами Бахтина: "Ничего окончательного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, еще все впереди и всегда будет впереди". Таков очищающий смысл смеха.

Всякое пение предполагает со-гласие. А сейчас и читателей: перед вами - песни.

Леонид Ентин

Тексты с инициалами А.Х.В. написаны совместно Волохонским и Хвостенко, с инициалами А.Х. - Хвостенко.

Борис ВАХТИН
**ЛЕТЧИК ТЮТЧЕВ,
ИСПЫТАТЕЛЬ**

ПОВЕСТЬ

1

начало

В нашем доме живут я, женщина Нонна, летчик-испытатель Тютчев, потомственный рабочий Вахрамеев, бывший солдат Тимохин, мальчик Гоша и еще прорва всякого народа числом пятьдесят квартир, и в некоторых по две-три семьи из трех и более человек.

Вокруг нашего дома стоят другие дома с аналогичным положением, образуя двор с деревьями посредине.

Под деревьями, благодаря субботнику, есть стол и две скамьи для домино.

У нас много выдающихся жителей, например, наш писатель Карнаухов, хрупкая мексиканка в советском подданстве, художник Циркачев, знаменитый борец за мир Мартын Задека, например.

И о каждом жителе можно рассказать полное собрание сочинений.

2

а почему у него одна рука?

В нашем дворе бывает часто такой пережиток, что отправляются пройтись, сложившись, а иногда и за счет одного, в случае, если есть.

И пройдясь, счастье имеют в виде занятости самими собой, выясняя насчет дружбы и все говоря по правде, но только чтобы не обижаться.

Из книги "Три повести с тремя эпилогами"

Конечно, это дело - дрянь, но бывает часто именно так и даже еще и так, что идут назад по параболе или же короткими перебежками, падая вперед друг за другом.

Конечно, это не дело, но пусть осудит тот, кто таким способом не передвигался и по утрам к новой жизни не возрождался, как Озирис, чувствуя в организме поправку от болезни и пробуждение свежих сил, включая нравственные намерения. Тот, а не я.

А почему у него одна рука?

Так спросил у бывшего солдата Тимохина старик-переплетчик, когда они возвращались домой по параболе через незнакомую улицу.

И бывший солдат Тимохин сказал:

- Дело прошлое, но правду говоря, только ты, старик, не обижайся, потому что ты лично тут не при чем, это верно тебе говорю, но было ранение и доктор руку отрезал, только ты-то не обижайся.

Старик-переплетчик упал на радиатор и сказал такси:

- Поехали.

Его оттащили, так как он упал без очереди, а желающих имелось много. И потом была в жизни пауза, а еще потом в другой незнакомой улице старик-переплетчик весело говорил Тимохину:

- Граждане, милиционер, понимаешь, он мне ухо оторвал, сам посмотри.

И показывал ухо, которое было совершенно целое, а также паспорт, требуя убедиться.

А солдат Тимохин сказал, продолжая:

- Встретились мы с ним потом, он в деревне у нас дачу снял, мы рыбу ловили, клевало, говорил, вот как получилось, солдат, только ты не обижайся, по правде сказать.

3

актриса нелли

Актриса Нелли в западном плане имеет глаза бархатные, как абрикосы, длинные ноги и трепет при виде летчика Тютчева в кожаной куртке.

- Здравствуйте, Федор Иванович, - говорит она на закате, когда возвращается летчик. - Сегодня у меня друзья и очень будет весело.

- Здравствуйте, - говорит летчик Тютчев, испытатель, и проходит мимо.

И актриса Нелли прижимается всем своим трепетом к кому-нибудь другому, наблюдая вдали кожаную куртку.

- Я устала от бестебятины, - кружит она голову в западном плане, и у нее бывают друзья и очень шумно, потому что она талантлива и снимается в картине, изображая итальянскую безработную, и мы все пойдем смотреть.

А летчик Тютчев сидит у мексиканки, которая является его мексиканкой, и пьет не что-нибудь, отнюдь, а желтый чай, отдыхая от полета над Россией, бережный, будто отогревая за пазухой, под курткой, а его товарищ, костлявый молчаливый пилот, который всег-

да при нем, как тень, как утренняя тень, вдохновенно глядит в потолок, наслаждаясь счастьем друга.

4

ЛЕТЧИК ТЮТЧЕВ В АГИТПУНКТЕ

Он делился опытом в агитпункте, говоря:

- Много раз я делал вынужденные посадки, когда пурга вокруг самолета тысячу километров налево и направо, и пассажиры мои начинали мерзнуть и проявлять свое нутро, делясь у кого чем было поесть, так что нутро у них обнаруживалось такое, что лучшего в пургу ждать не приходится. Обнаруживалось нутро лучше, чем в повседневной жизни, чего никак нельзя было предположить в заурядных обстоятельствах.

Так говорил летчик Тютчев, вкладывая в свои слова громадный жизненный опыт.

И агитпункт трещал по швам от толпы, приходившей послушать летчика Тютчева, потому что он делился громадным жизненным опытом.

- Какой-нибудь пижон, - говорил летчик Тютчев, - вместо того, чтобы метаться от страха и задавать бессмысленные вопросы про то, когда кончится пурга, как от него ожидали нормальные люди, вылезает наружу и идет охотиться, чтобы всем было что поесть, пока они перетерпят бедствие.

- А что это такое - пижон? - спрашивали из зала не с подкожкой, а подобострастно.

- Пижон, - говорил летчик Тютчев со знанием дела, - это тот, кто всего хочет, но ничего не умеет. И вот такой человек в исключительных обстоятельствах шел охотиться на медведя, и в этом-то и есть сила нашего общества.

И секретарь райкома в этом месте начинал кивать головой, соглашаясь и одобряя, а зал хлопал, как один человек.

- Как же назвать эти поступки, неожиданные и удивительные? Как назвать это одним соразмерным словом, чтобы прозвучало оно, это слово, как выстрел спасательной экспедиции?

- Назвать - здорово! - предлагали из зала. - Назвать - молодец!

- Это слово, - говорил летчик Тютчев, - это слово - чудо, товарищи, чудо.

Громадный опыт у нашего летчика-испытателя Тютчева, прямо дух захватывает.

- А где чудо, там и странности. И первая необъяснимая странность та, что нутро, проявившее себя в пургу любовью, дружбой и товариществом, в заурядном быте такими сторонами поворачивает себя редко, и далеко не ко всем подряд, а большей частью к родным и знакомым. И вот, думаю я, чтобы такую странность растолковать наглядно и с прямотой, требуется, думаю я, писатель, потому что он имеет пронизательность во всех отношениях.

О чем только не рассказывал летчик Тютчев на своих выступлениях в агитпункте - и о пурге, и о пижонах, и медведях, и са-

молетах, и о прочитанных книгах. И зал ломился от слушателей, набитый битком, как жизнь летчика Тютчева - событиями.

5

КАК НАДСТРОИЛИ НАШ ДОМ

Художник Циркачев появился среди нас не от рождения, а в силу обстоятельств.

Большие люди собрались где-то на совещание и постановили построить на крыше нашего дома мастерскую для художника с окном-стенной, с окном-витриной, с окном на восток. Большие люди так решили, чтобы развивать искусство, и мастерскую построили, для чего перекопали двор, меняя водопровод, разрушили асфальт на улице и расчистили речку машиной, которая чавкала по ночам, переливая грязь в баржи.

Весь дом ходил смотреть мастерскую. Все мы столпились, сняв шапки, в ее центре, а наш писатель Карнаухов давал пояснения.

- Окна - готического стиля, - сказал он. - Потолок - ложное барокко, а пол паркетный. Здесь будет жить художник, и всю эту роскошь дало ему государство, чтобы он совершенствовал свое мастерство.

Так появился у нас художник Циркачев, принеся своей деятельностью в наш двор некое подобие сюжета.

6

ЖЕНЩИНА НОННА

Молодая женщина Нонна была матерью дошкольного мальчика Гоши и потрясала всеобщее воображение, и я забыл про свою влюбчивость и полюбил ее первой любовью.

Однажды я сидел у нее в гостях и рассказывал про свои далекие идущие замыслы, а потом почему-то перестал рассказывать, и она смотрела на меня во все глаза, а потом стала раздеваться, и я обалдел от неожиданности, но мне некогда было думать, почему это так и какие во мне достоинства, и она красиво молчала все это время, моя женщина Нонна.

И она вошла в мою жизнь, и я объяснялся ей в любви четырнадцатый раз и так же пылко, как в тринадцатый раз.

- Понимаешь, - говорил я ей пылко, обалдев от счастья, - у переносицы нет знака невозможности, а на веснушках далеко не уедешь. Если нам удастся продать бегемота, мы купим пылесос и тогда ты сможешь заняться французским.

- Да, - отвечала мне женщина Нонна, и мне становилось жарко на сердце от ее неукрашенного голоса. - Я до визга люблю машины.

И вот у нее появилась машина, и она получила права, и обтянула фигуру свитером, и покрасила волосы перекисью, и стала возить меня туда и обратно.

А я не спрашивал, откуда у нее машина, потому что у нее было много своих тайн, меня не касавшихся, и она любила машины, а

я любил ее и объяснялся ей в любви пятнадцатый раз и так же пылко, как в предыдущий.

- Ты знаешь, - говорил я в пафосе, жмурясь на поворотах, - мне ясно впереди, и не забывай, что в тот день, когда птицы разбили графин с простоквашей, я уже тогда подумал, что все можно объяснить по-хорошему.

- Да, - отвечала моя женщина Нонна, и мне становилось жарко на сердце от ее откровенного голоса. - Просто я до визга люблю машины.

И я жмурился на поворотах.

7

НОГА МОЕЙ ЖЕНЩИНЫ НОННЫ

Нога моей женщины Нонны - это не нога, это подвиг.

Это подвиг будущих космонавтов, забравшихся в звездный холл и возвратившихся со славой.

Это подвиг маленького мальчика Гоши, откусившего коту правое ухо.

Это подвиг рядового Тимохина, поделившего в зимних окопах цыгарку с другом и под крики "Ура!" вступившего в партию.

От начала и до коленки, от коленки и до конца - это не нога, это самый настоящий подвиг.

8

КАК Я ЕЕ ЛЮБИЛ

- Потом, - сказал я.

- Сорви мне вон ту ромашку, - сказала женщина Нонна.

- Потом, - сказал я.

- Послушай, - сказала женщина Нонна томным голосом, - я просила тебя сорвать мне вон ту ромашку.

- Потом, - твердо сказал я.

- Черт бы тебя подрал, - сказала женщина Нонна, - я сколько раз просила тебя сорвать мне вон ту ромашку.

- Потом, - твердо сказал я.

9

СПИНА МОЕЙ ЖЕНЩИНЫ НОННЫ

На этой спине тоже есть лопатки, и видны у шеи два позвонка, и кожа чистая и без родинок, сверху донизу водопадом кожа белая по-человечески у моей женщины Нонны.

Многие пытались сфотографировать эту спину, но у них ничего не вышло такого, как я знаю.

ЛЕТЧИК ТЮТЧЕВ НАД РОССИЕЙ

Летчик Тютчев летал иногда обычным рейсом над Россией.

Внизу танцевали девушки в зеленых широких платьях среди сверкавших дорог, на которых замерли машины; и белые облака ходили, раскладывая мозаику из зеленого и бурого, из смолистых лесов, из лугов, островов, из Смоленсков, Калуг и Ростовов.

И летчик Тютчев слышал, как билось в стенку его кабины сердце стюардессы, которая разносила курицу и кофе, не проливая на пол, а под полом - белые Гаргантюа и Пантагрюэли ходили и ходили неторопливо от края до края земли.

И если глянуть вообще, то внизу был мир, бесконечный, как Сибирь.

Агрегат к агрегату, включая металлургию, нефть и комбайны, включая китобойную флотилию "Слава" и тысячи тонн.

Рядом с этим труба от котельной всего-навсего соломинка, не говоря уже о скамейке, на которой мы любим сидеть просто так.

Агрегат к агрегату.

А если взглянуть пристально, то виден внизу какой-нибудь городок на поверхности нашей необъятной родины, например, Торчок. И в центре города имеется кремль шестнадцатого века, в кремле Вознесенский, Троицкий и еще соборы, а также лежит колокол на земле, который, как гласит предание, осквернил один из самозванцев, отчего колокол, Богом проклятый, упал и лежит, как чурбан, вот уже триста с избытком лет, восхищая прозаиков и поэтов.

Под Вознесенским собором в холодных подвалах, каменных мешках с кольцами для посадки на цепь и в прочих исторических памятниках хранят картошку, а под Троицким керосин, которым торгуют тут в кремле гражданам, создающим очередь у колокола с бидонами и бачками.

Торчок имеет население смешанное, включая интеллигенцию и крестьян, а что до промышленности, то, главным образом, финифть, отчего пролетариат поголовно женского пола.

Никакого отношения за всю свою жизнь летчик Тютчев не обнаруживал к Торчку, исключая любовь ко всей необъятной родине, как она есть, над которой он летел.

ХУДОЖНИК ЦИРКАЧЕВ И ДЕВОЧКА ВЕТОЧКА

Говорят, что он поставил музыку и музыка заорала на всю мастерскую и на весь двор; говорят, он объяснил ей толково, что к чему, и, объяснив немного, спрашивал настойчиво, а она отвечала ему да; говорят, он не выключил свет; говорят, ее бил озноб и тело ее покрылось льдинками; говорят, она плакала, когда кончилась музыка, и тогда он погасил свет; и толстая баба Фатьма, циркачева поклонница, шныряла ночью по мастерской, как летучая мышь, и готические окна были темно-синими, и он спал, спал,

спал, и проступили две незаконченные картины Циркачева - "Сиамские близнецы", изображавшая, как он говорил, трагедию вечной сдвоенности, и "Волоколамское шоссе", про которую он только хмыкал и на которой были танки и фашисты в натуральную величину.

12

бывает...

Бывает, что я, по профессии интеллигент, ночью поднимаюсь на нашу крышу, сажусь там, свесив ноги вниз, смотрю вокруг откровенно на наш замечательный двор и думаю.

Думаю откровенно о нем и о нас, о всех нас с вами.

Внизу над трамвайными рельсами, что уходят в улицу, висит ветка лампочек и сварщики чинят путь.

Вверху летит над Россией он, летчик Тютчев, испытатель, двумя огоньками - зеленым и красным.

Спят за погасшими окнами нашего дома люди в полном составе.

Завтра они будут жить и бороться сообща, но каждый на свой манер; а сейчас они все равны перед сном, одинаковые.

Мир колышется по ночам и волнуется, как отражение в воде, имея в виду дома, и котельную с трубой, и светлое окно под крышей напротив, и деревья во дворе, и мостовую.

Все струится, течет и шепчет, как сухой камыш над озером в темную ночь.

Вон два дома раскачиваются, как слоны, раскачиваются, словно хотят сшибиться, и шепчут всеми окнами:

- Предстоят путешествия, далекие странствия, полеты, игры и женщины. Не шумите, не мешайте, предстоят путешествия, в Калькутту, а может быть дальше. Не шумите, не машите, спите пока, спите.

А там, к центру города, есть мир, где не пахнет летчиком Тютчевым, где ходят друг к другу умные люди с поллитрами водки и женщины имеют строгую фигуру, челки и педикюр, а также помогают мужьям утвердить свое я и показать лучшие стороны...

А здесь на крыше сижу я и слышу, в частности, как шепчет толстая баба Фатьма о слиянии душ и насчет своей страстной материнской любви спящему Циркачеву:

- Ночь каркает за твоим окном, как ржавый гвоздь из доски, а мне все едино, римский папа и пусть. Никого и ничего, только бы подстилкой у царских врат, потому что главное гений, а все остальное пусть...

Улетают огни летчика Тютчева, бледнеют с зарей лампочки на ветке, затекают ноги мои от сидения на краю.

О всех нас с вами, вот ведь в чем дело.

ПЕСНЯ ОКОЛО КОЗЫ

Мы часто большинством двора выезжали на природу, и женщина Нонна везла нас навалом в своей машине, а сзади в такси следовал Циркачев со своей компанией и с девочкой Веточкой.

Мы отдыхали в бору над рекой, где паслась коза.

И около козы у писателя Карнаухова и художника Циркачева получилось недружелюбное столкновение.

- Ваши черные брки мешают мне рисовать, - сказал Циркачев небрежно.

- Жаль, - сказал Карнаухов, - но я не могу отойти именно от этой вот травинки и именно от этого вот кузнечика, которые делают мне настроение.

И он сказал это тоже небрежно.

- Как это допустимо торчать у великого художника в глазу, - сказала тостая баба Фатьма, - имея за душой в преклонном возрасте лучший рассказ о полете на Луну и еще что-то про метро без зарубежной прессы!

Но тут в дискуссии вышла пауза песней летчика Тютчева:

Друг мой!
 Улыбку набекрень!
 Вместе в разрывах облаков.
 Буду
 И не забуду,
 Что путь далек,
 Хотя, конечно, с нами Бог!
 Вспомни
 Ромашек пересвет,
 Камень,
 Что на дороге лег,
 Буду
 И не забуду
 А ля фуршет,
 Хотя, конечно, путь далек.

Летчик Тютчев кончил свою песню. Молчаливый пилот дал ему закурить, и они поняли друг друга из фляжки.

Но души писателя Карнаухова и художника Циркачева от песни не проветрились. Речь у них шла около козы о самом главном в творчестве:

- Друг мой, - сказал художник Циркачев, обращаясь к девочке Веточке кротко, как Христос, неуверенно, как лектор по радио, - стань вот сюда и заслони своей талией это пятно.

Но девочки Веточки, может, и хватило на что другое, только не заслонить писателя Карнаухова, обширного, как облако.

- Дело не в прессе, - сказал Карнаухов, - дело в осуществлении замысла.

Но тут вмешалась коза.

Она подошла и встала, как вкопанная, между писателем Карнауховым и художником Циркачевым ко всеобщему временному удовлетворению.

14

беседа

Часть населения нашего дома сидела на лавочке возле котельной и миролюбиво беседовала.

- Если, конечно, так, - сказал бывший рядовой Тимохин, - то, значит, в этом смысле все так буквально и будет.

- В этом буквально смысле, я считаю, и будет, - сказал писатель Карнаухов.

Но летчик Тютчев сказал:

- Я не согласен. Если бы так было, то уже было бы, но так как этого ничего нет, то, значит, и вероятности в этом уже никакой нет.

Старик-переплетчик прикурил у летчика Тютчева и сказал:

- Вот оно как получается, если вникнуть.

Но бывший рядовой Тимохин обиделся словам летчика Тютчева и сказал примирительно:

- Не в том суть дела, Федор Иванович, что нет в этом никакой вероятности, а в том, что значит, в этом смысле все совершенно так и будет, как я сказал.

И писатель Карнаухов подтвердил:

- Я так считаю, что в этом смысле и будет.

Может, и плохо бы все это кончилось, но тут прошла мимо женщина Нонна и одним только видом своим уже переменяла тему беседы.

- Ты, дед, покури, - сказали летчик Тютчев, бывший рядовой Тимохин и наш писатель Карнаухов и пошли в магазин пройтись, а старик-переплетчик остался покурить и посмотреть, как маленький мальчик Гоша, раздобыв где-то столовую ложку, ест с ее помощью лужу во дворе напротив котельной; и как выбежала женщина Нонна и стала звонко выбивать из мальчика Гоши интеллигентность; и как я прошел домой и как мне стало жарко на сердце, когда я поздоровался с женщиной Нонной, а она ответила мне на вы, потому что стеснялась мальчика Гоши и берегла его мораль.

А потом они пошли назад назад мальчика Гоши, который уже играл сам с собой в прятки и считал:

- Раз, два, три, четыре, пять...

- А я думаю, это буквально так, - сказал наш писатель Карнаухов и почесал живот рядовому Тимохину.

И солдат Тимохин обнял летчика Тютчева и заплакал у него на груди, объясняясь ему в любви немногими жесткими словами.

Только летчик Тютчев держался железно, потому что он попал и не в такие переплеты.

- А раньше такое бывало? - спросил он испытательно.

Писатель Карнаухов устал идти и сел у стены.

- Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать! - завопил мальчик Гоша так, что зазвенели стекла в окнах, а писатель Карнаухов обрел новые жизненные силы и встал.

- Бывало, - сказал он уверенно, после чего летчик Тютчев понес их домой вместе с Тимохиным, поскольку идти они затруднялись.

15

как художник циркачев употребил бывшего солдата ТИМОХИНА между прочим и в первый раз

- Мало осталось, - сказал однажды Циркачев, глядя Тимохину через глаза прямо в душу, - мало осталось таких мужчин, чтобы подать руку взаимной помощи.

Бывший солдат Тимохин растрогался, заморгал, и сказал речь, что в разном смысле, как известный летчик Тютчев разъяснял насчет исключительных обстоятельств, и закурить тоже пожалуйста.

- Не курю, - сказал Циркачев и сделал ладонью чур меня. - Никого, понимаете, нет у меня, чтобы плечо к плечу, не выдать и так далее.

И солдат Тимохин растрогался, понятно, еще больше и сказал, что рука у него одна, но чтобы выдать никогда и даже так далее.

И честно подставил Циркачеву оба глаза для смотра через них в душу, потому что ни в чем не откажешь, когда такой разговор и потребность в друге.

И девочка Веточка зачастила к Циркачеву для позирования, но при чем тут Тимохин и как, не знаю, однако при чем-то.

16

большая летучая мышь

На лестнице утекло много воды, и стенки исцарапала история, а внизу направо жил камин, давно не пахнувший пеплом и холодный, как льдина.

На третьем этаже имелась дверь с гирляндой звонков и с бытовой гармонией, кому сколько полагается звонить и какая правда в какой ящик.

Почти каждое утро из этой двери выпархивала большая летучая мышь и неслась по лестнице навстречу погасшему камину, чужому двору, подворотне и духовной пище.

И в мастерской художника Циркачева она грела чай, держала, ставила и пособляла.

И почти каждый вечер в эту дверь влетала летучая мышь и неслась бесшумно по коридору в узкую комнату, где на кровати, рядом друг с другом, спали брат и сестра. Лежал на столе у окна недоеденный хлеб, кисло молоко в бутылки, и детские одежки на стуле рассказывали о возрасте и сантиментах.

Они еще спали, утром, а летучая мышь спешила бесшумно убраться, чтобы не дать спящим проснуться и к ней позвать. Неслась она

по лестнице вниз, навстречу зеленому двору, камину, подворотне и духовной пище, почти каждое утро, пока спящие спали.

17

ВСТРЕЧА

Наш писатель Карнаухов, создав лучший и пока единственный рассказ о полете на Луну, по многим непонятным причинам грустит и ничего больше написать не мог.

Талант у него, конечно, был, и работал он на заводе, в гуще жизни, и условия ему государство создало, заботясь, а он все пре- бывал в нерешительности, говоря, когда мы гуляли вместе:

- Там, где другие видят просто дом, я не вижу просто дом, а без новой философии это неубедительно.

- Ишь чего захотел, - говорил старик-переплетчик.

- Потребность, а не ишь чего, - отвечал Карнаухов.

- У меня-то есть, - однажды вставил я робко.

- У тебя, может, и есть, - сказал Карнаухов, - но ты не писатель, поэтому толку нет, что у тебя есть, понимаешь ли, в чем тут тонкость.

- В парашютисты иди, - сказал летчик Тютчев. - А то ум на тебе заметен, как тельняшка, а там кувырком вниз на три тысячи метров и больше, так что много будешь иметь себе пользы.

Писатель Карнаухов закричал, что это в самую точку, а я вообразил и содрогнулся.

Навстречу нам попался Циркачев, с толстым молодым человеком вместе во главе, а следом кочевала толпа поклонников его таланта, употребленных раз и навсегда, развлекая друг друга в ожидании своей надобности во имя искусства. Секунду Циркачев подумал, потом решительно остановился.

- Познакомьтесь, - сказал он нам значительно. - Это мой друг и покровитель, специалист по делам православной церкви, ценитель искусства, проездом, а также любит Шопена... А это, - сказал он толстому молодому человеку, - наш писатель Карнаухов, слышали, может быть.

- Очень приятно, - сказал молодой человек, специалист по православной церкви. - Много читал, очень приятно.

- Что же вы читали? - спросил наш писатель Карнаухов.

- Не помню точно, - сказал молодой человек, - очень приятно.

- Читал он, читал, - заспешил Циркачев, - все у вас читал, вы же слышали.

- Странно, - сказал Карнаухов. - Мой рассказ еще не напечата- ли.

Летчик Тютчев придвинулся к толстому молодому человеку и спросил приветливо:

- Из вежливости, парень?

У того достоинство лица покрылось красными пятнами, а Циркачев заявил замогильным голосом, уводя его прочь:

- Читал или нет, дело в деликатности, тем более, что мой друг и покровитель.

И ушел во главе с молодым человеком вместе, а толпа прошла следом, величественная, как Екатерина Вторая.

И уже издали до нас долетела фраза Циркачева, непонятная и обидная:

- Пошлость, - сказал он, - это проявление духа внутреннего во внешнем...

18

ОТЕЦ МАЛЬЧИКА ГОШИ

Я сидел на берегу пруда в парке, а вокруг было воскресное гулянье из родителей, похожих на братьев и сестер своих собственных детей, а также из публики, которая не идет ни в какой счет, потому что я их никого не знал и наблюдений по их поводу не имел.

Я сидел и думал, что какое теплое солнце и какой свежий воздух, надо же, чтобы такое существовало, а также о множестве ног, не идущих ни в какое сравнение с ногой моей женщины Нонны, появления которой я ждал, а также по привычке о судьбах мира. Думал я, кого-то смущаясь, то ли из-за судеб мира в свете свежего воздуха и ног, то ли из-за свежего воздуха и ног в свете наоборот.

Высокий мужчина, растоптанный и рванный, тащился по аллее, с бутылкой в повисшей руке, а за ним шел мальчик Гоша и нес его грязную кепку.

Мужчина был пьян насквозь и время от времени вставлял бутылку в рот, и в него булькало вино, а мальчик Гоша останавливался и ждал идти гулять дальше.

И был этот грязный похож на мальчика Гошу, так что мне все стало ясно, как днем, и я заметался по аллее, чтобы женщина Нонна пришла не сейчас, а погодя.

Мужчина отличался от публики, и все старались обойти стороной его, торчавшего, как большой палец, между мальчиком Гошей и бутылкой вина.

Все-таки пришла женщина Нонна и, обогнув меня, подошла к мужчине, а он посмотрел на нее, как на все, бесчувственным взглядом.

- Как тебе моя машина? - спросил он, а женщина Нонна спросила прямо и без дрожи губ:

- Зачем ты с Гошей?

- Гоша, пхе-хе, - сказал он ей и засмеялся, хмыкнув пару раз, словно царапая горло. - Машина, а?

- Хочешь я постираю тебе рубашку? - спросила женщина Нонна.

- Пропади ты вместе с рубашкой, - сказал мужчина.

- Пойдем, - сказал мальчик Гоша отцу.

Мужчина вставил бутылку в рот, забулькало вино, и тут он сел на корточки у края аллеи.

Мальчик Гоша старательно надел на него кепку, и отец никак не помог ему это сделать, и все старались обойти стороной, а женщина Нонна пошла прочь - не ко мне, а вообще прочь - и виду нее был незаконченный и недосказанный, а не как у взрослой женщины.

голубая роза солдата Тимохина

- Это было в окопе, - сказал вдруг солдат Тимохин не как речь, а как воспоминание, сидя на крутом берегу в воскресный день, окруженный нами. - Это было в окопе, когда сержант выливал из каски дождевую воду на босу ногу, а все мы, рядовые, курили по команде вольно. А потом началась дымовая завеса над нашими головами и артиллерийская подготовка, а также замполит выкрикивал лозунги в стороне не то слева, не то справа, идя в атаку вплоть до замолчания. А потом все кончилось, кроме дождика, и в окопе никого не было, кроме меня, в переносном смысле, потому что никого уже не было, вот в чем дело. И тут-то в глубине окопа через босу ногу сержанта и плечи рядовых я увидел куст шиповника, подброшенный к нам разрывом, а на кусте голубую розу.

- Бред, - сказал художник Циркачев, пожимая плечами. - Мистика живет в скважинах интеллекта, и не при чем тут дымовая завеса и замполит. Все голубые розы написаны в моих картинах.

- Химика взрыва, - сказал поклонник Циркачева, седой борец за мир Мартын Задека, влюбленный в турецкую культуру. - Химика взрыва могла превратить натуральное в голубое. Что-то такое я где-то читал.

Женщина Нонна грызла травинку, лежа на животе, и постукивала себя самой правой пяткой, не заботясь о сотрясениях.

- Это было в окопе, - сказал солдат Тимохин с надрывом, - и после войны в нашем дворе мне сказали и засвидетельствовали о превращении цвета моих глаз в качество голубых.

- Химика взрыва, - уверенно сказал испытанный борец за мир Мартын Задека, не сводя глаз с пятки.

Девочка Веточка, собиравшая кругом нас ромашки, присела на корточки перед бывшим солдатом Тимохиным и тоже засвидетельствовала:

- Оба голубые!

- Чепуха невероятная! - яростно сказал художник Циркачев, протыкая воздух жестикуляцией. - Феномен природы, и все уже есть в моих картинах.

- Человек ее видел собственными глазами, - сказал вдруг летчик Тютчев, до того молчавший в наблюдении пятки. - Голубую розу на кусту шиповника.

И он в упор посмотрел на Циркачева.

- Нет отзвука одинокому, - говорил Циркачев вечером в мастерской девочке Веточке, когда она раздевалась для позирования, а толстая баба Фатима кипятила чай на электроплитке и ставила пластинки Моцарта. - Нет отзвука художнику, когда он щедрой рукой наделлет, но не берут, а выдумывают розу от собственного неполноценного имени. Преклони колени, друг мой Веточка, и стань в позу.

А мы этим вечером вернулись на наш двор и присели на скамейке у котельной - женщина Нонна, я, бывший солдат Тимохин и летчик Тютчев со своей мексиканкой.

И посидели тихо и без слов на скамейке у котельной, а потом они разошлись парами, и моя женщина Нонна шла с Тимохиным, обняв его, а когда я взревновал и пошел следом, то женщина Нонна обернулась и сказала мне убедительным голосом, что я дурак.

20

КАК ХУДОЖНИК ЦИРКАЧЕВ УПОТРЕБИЛ СОЛДАТА ТИМОХИНА ВО ВТОРОЙ РАЗ

- Вы сделали солнце моей жизни, - сказал спустя Циркачев Тимохину на внешний вид вполне без юмора.

Они сидели за мраморным столиком в буфете без стен, с парком культуры и отдыха вокруг. Тимохин водку уже выпил, перейдя на пиво, а Циркачев спиртного в рот не брал. На тарелке с синими буквами лежал зеленый, как малахит, сыр и сушки натюрмортом.

- Она - Индия в верхней части своего существа, а дальше пути-дороги длинных ног, имея в виду стройность Эль-Греко и упругость физической культуры. Благодаря вам, друг мой! - сказал Циркачев.

Солдат Тимохин выпил пива, поставил кружку, потом вставил папиросу в рот и зажег спичку единственной рукой, обдумывая свое значение в искусстве и твердость в мужской дружбе.

- Я ваш должник, - пропел художник Циркачев, - а все остальное чепуха!

Но бывший солдат Тимохин сказал, что имеется в избытке, включая еще кружку пива, хотя, может быть, вдвоем, что ж он один, потому что жарко.

- Не пью, - сказал Циркачев, делая ладонью чур меня. - Но мне приятно, чтобы вы. Индия сверху и сполна, благодаря вам!

Тимохин растрогался, заморгал, и сказал речь, что хотя и среди незнакомого, например, упругость Эль-Греко, но можно положиться, пусть даже и одна рука.

- Маленькая просьба, - придвинулся Циркачев с доверием, - старое умирает, а наша знакомая не ест, вместо того, чтобы отойти на задний план, а вы человек холостой, так что благодаря вам и если вы не прочь...

Весь этот день в мастерской, и весь этот вечер за готическими окнами, синими изнутри, гремел Моцарт, возносясь к небу, а женщина Нонна два раза стучала к солдату Тимохину, а мальчик Гоша удрал поиграть вместо идти спать, и женщина Нонна в сердцах нашла его на краю крыши, спускавшего оттуда предметы наперерез Моцарту, а потом женщина Нонна плохо спала со мной рядом, ничего не сказав лишнего по своему обыкновению, чуткая и нервная, даже сравнить ее не с чем.

А я лежал и думал тихо, почему они все так переглядываются, что я их не понимаю до конца, а только сердцем, и зачем в этой истории я, зачем мне все эти соседи слева и справа, сверху и снизу, если я только сердцем.

За готическими окнами, черными снаружи, почти до утра, закончив, начинал сначала, закончив, начинал сначала, сначала и сначала бессменный Моцарт и, говорят, художник Циркачев так и не выпил ни капли до утра.

21

ПИСЬМО ХУДОЖНИКА ЦИРКАЧЕВА ЖЕНЩИНЕ НОННЕ

Ты для меня, писал Циркачев, и земля, и сестра, потому что в твоих глазах я, если бы ты это поняла; ты и небо, и мать, и также все вездесущее!

Случайные люди окружили меня в одиночестве на пути к гармонии с самим собой.

Пишу тебе, как не мог бы даже себе: я чист и светел, пока дух мой на холсте, и наоборот, как жизнь, в каждом шаге своем, потому что ты не со мной, а с ними, сестра моя, вместо того, чтобы омыть и направить.

Дай отдохнуть мне у глаз твоих, мне, гению, но бессильному без тебя.

Так и много другого писал Циркачев в письме, и это не лезло ни в какие ворота нашего двора, и женщина Нонна читала, сидя в машине и решая свои поступки. Она читала, но не улыбалась, хотя это совершенно не лезло.

И красные бусы были вместе с письмом, и все это принес, смущаясь, бывший солдат Тимохин.

22

КАК ОДНРУКИЙ СОЛДАТ ТИМОХИН ЛЕЗ НА КРЫШУ

На дворе стемнело, только стучали доминошники, приближая костяшки к глазам, чтобы вникнуть в их смысл. Пробежал кот, за котом мальчик Гоша, за мальчиком Гошей женщина Нонна. Горбун, несмешно улыбаясь, пер через клумбу, направляясь в свою коммунальную квартиру на покой. Небо пахло травой и поблескивало первыми звездами.

Девочка Веточка вошла во двор, а следом за ней шел бывший солдат однурукий Тимохин, хватаясь за стенку дома, как за сердце, единственной рукой.

- Съешь, - говорил солдат Тимохин однообразно и просительно. - Съешь, прошу тебя.

Но девочка Веточка шла, не оборачиваясь, и глаза у нее были ошалелые и смотрели в разные стороны, так что непонятно было, как это она идет и даже не спотыкается.

Но тут бывший солдат Тимохин обогнал ее, подбежал к пожарной лестнице, натянутой вдоль стены отвесным трапом, взобрался на нее и с помощью своей единственной руки стал подниматься вверх, и каждую ступеньку он брал с бою, и на каждой ступеньке он отваливался на сорок пять градусов назад, а потом хватался рукой и лез вверх еще на одну ступеньку и отваливался на шестьде-

сят пять градусов непостижимым образом, и в домах вокруг началось пожарное состояние, потому что из окон и дверей повалили люди с криками, и доминошники сорвались и понеслись, только старик-переплетчик остался сидеть, где сидел, вникая в костяшку. И горбун задержался на клумбе, глядя на все это и несмешно улыбаться.

Девочка Веточка посмотрела на Тимохина, на все его градусы, на его гибкий позвоночник и цепкую руку, и ничего не сказала, и ушла в дом, не улыбнувшись и не заплакав.

И когда летчик Тютчев и с ним пятеро доминошников сняли Тимохина и он оказался стоять перед взбудораженным населением, то сказал, объясняя свой дикий мотив:

- Понимаешь, три дня ничего не ест.

И оранжевый месяц выплыл в небо над крышей, спугивая звезды.

- Три дня ничего не ест, как будто в этом деле, если правильно понять.

И он ушел домой, хватаясь за стенку дома, как за сердце, единственной рукой, а людей был полный двор, и никто ничего не сказал.

23

бусы козыри

Я поднялся к соседям сверху и там четыре часа подряд играл взволнованно в шамайку, а серый дом качался от тревоги и трубил, как слон, в беспокойстве.

А летчик Тютчев шел к моей женщине Нонне, чтобы узнать у нее все, как есть.

А женщина Нонна дала мальчику Гоше те самые бусы и послала его играть на двор.

И мальчик Гоша разорвал своими могучими руками бусы еще на лестнице, а на дворе стал играть в совершенно другие игры.

И летчик Тютчев, идя к женщине Нонне, чтобы узнать у нее все, как есть, наступал на те самые красные бусины, крупные, как сливы, и сердце его каменело.

Я сидел у соседа сверху, играл в шамайку и, волнуясь, вел с Карнауховым философские разговоры.

- Как же вас понять, - говорил Карнаухов обиженно. - Выходит, куда ни кинь, всюду клин.

- Хорь и Калиныч, - говорил я.

- Козыри пики, - говорил писатель Карнаухов. - Выходит, если вас понять, что мы с вами вроде еще не родившейся звезды.

- За звезду! - сказал сосед снизу.

- Да, - говорил я. - Так и выходит.

- Вроде разгорающейся звезды? - приставал Карнаухов.

- За звезду! - сказал сосед сверху.

И мы выпили за разгорающуюся звезду, хотя писатель Карнаухов и возражал.

- Ну, а если я не пожелаю? - говорил он. - Если я пожелаю быть писателем Карнауховым и точка?

- Не выйдет, - говорил я. - По мысли звезда и точка.

- За звезду! - предложил сосед напротив.

И летчик Тютчев вошел в квартиру к женщине Нонне, и глаза их встретились.

Дом качался от волнения и трубил, как слон, в тревоге, потому что летчик Тютчев был из тех, что делают по утрам гимнастику в скафандре, а женщина Нонна имела фигуру, обтянутую штанами и свитером, и привыкла самолично решать свои поступки.

- Нос, ну и пусть нос, - думал я наверху, волнуясь через край, - все равно что-нибудь да получится, так не бывает, чтобы ничего не было.

А летчик Тютчев и женщина Нонна смотрели друг другу в глаза, и комната наполнилась пламенем.

Но летчик Тютчев устоял и сказал голосом моего друга:

- С кем же ты есть, Нонна, если можешь мне объяснить?

- Знаешь, я до визга люблю машины, - сказала женщина Нонна и тронула рукав его кожанки.

Но летчик Тютчев устоял и сказал:

- Если можешь все-таки мне объяснить.

И женщина Нонна, нервная последнее время, как Махно, натянулась струной, засунула руку глубоко за свитер и отдала теплое письмо.

Это было письмо Циркачева, которое женщина Нонна отдала, решив, что она есть с нами, и это со всех точек зрения трудно переоценить.

24

СТОЛКНОВЕНИЕ

Нельзя сказать по справедливости, что летчик Тютчев и сам не выходил иногда с задней площадки, но нарушал он правила законно, а этот, по его чувству, не нарушал правила законно и лез на летчика Тютчева нагло, вообще ни на кого не глядя. И летчик Тютчев взял его за все пуговицы сразу и поставил обратно в автобус, чтобы все ему объяснить, но автобус дернулся, и летчик Тютчев полетел на заднее сиденье, и Циркачев полетел на него, и кондуктор стал нажимать кнопку, автобус стал останавливаться, зашвистел милиционер, закричали люди, а толстая баба Фатима ползала по автобусу, собирая пуговицы, и летчик Тютчев предстал пред миловидной женщиной-судьей, имея протокол и путаницу в голове, потому что художник Циркачев с достоинством наговорил в протокол все, как было, а летчик Тютчев умолчал про заднюю площадку из мужской сдержанности.

Он стоял перед миловидной судьей, и душа его пламенела от обиды, и душа его пламенела потом еще три дня на погрузке угля, так что когда он появился на дворе, то все затихло, потому что он нес в себе решимость, как переполненный автобус людей.

- Я распутаю все это на чистую воду, - сказал он нам. И его нос, острый, как у Гоголя, и его рот, четкий, как молодой месяц, и его взгляд, твердый, как у снайпера, и все его существо, непоколебимое в кожаной куртке, было вкривь и вкось самим собой. - Я не какой-нибудь выдающийся летчик философии, но в своем соб-

ственном дворе хватит с меня путаницы, глядя собственными глазами.

- Потому что, - сказал бывший солдат Тимохин, - есть потребность в выпрямлении, Федор Иванович, хотя словами не сказать и не посмотреть себе в глаза, поскольку совестно.

А женщина Нонна сказала:

- Ты помолчал бы лучше, бесстыжая твоя рожа!

Друг и тень летчика Тютчева, молчаливый пилот, встал, высокий и костлявый, и задумался, глядя большими от природы глазами на собеседников.

А писатель Карнауков сказал:

- Если имея в виду шероховатость, то может дойти до трагедии, как говорит опыт классиков, начиная с Анны Карениной.

Но летчик Тютчев в решимости знал, что ему делать и без посторонних слов, когда вернется с аэродрома.

Первым пришел к Циркачеву Тимохин.

- Присаживайтесь, - сказал Циркачев и сделал Фатьме глазами в небо, как святой на иконе.

Солдат Тимохин присел.

Циркачев подумал и выставил из-за шкафа набор своих картин номер три: мост в виде обнявшейся пары, звездочет на крыше, раскинувший руки, как пугало или антенна; голая баба Фатьма с подбородком на коленке.

Солдат Тимохин картины посмотрел вежливо, а бабу Фатьму с интересом, однако молча.

- Ну, что об этом скажет друг мой? - спросил Циркачев.

- Я скажу так, - сказал Тимохин, - что лучше тебе отсюда съезжать добром, пока до беды не дошло.

Этот их разговор происходил тогда, когда летчик Тютчев отбыл по делам своим.

- Никуда не поеду, - отрезал Циркачев, убирая картины. - Вам будет пусто без меня и уныло.

Солдат Тимохин вышел, аккуратно прикрыв дверь в мастерскую, и сразу же вошел наш писатель Карнауков.

- Присаживайтесь, - сказал Циркачев.

Карнауков присел.

Циркачев подумал и выставил из-за шкафа набор своих картин номер пять: вариация на тему желтого круга и лиловой палочки; голая баба Фатьма в черном чулке, глядящая себе под коленку; сон марсианина - в середине светлое, по краям погуще.

Писатель Карнауков все это посмотрел со знанием дела и, упомянув, между прочим, пару нужных слов, сказал:

- Арабы были кочевники, а верблюды - корабль пустыни, однако, в пустыне, как и в море, нет пресной воды, и в этом, я считаю, вся соль, так что лучше вам отсюда откочевать.

Художник Циркачев стал очень серьезным, уже не поднимая глаз, как святой, а наоборот сказал:

- Но я не поеду, пробуждая добрые чувства и понимание цвета, без чего немислимо и скучно.

Писатель Карнауков ушел.

И вошла в мастерскую женщина Нонна.

При виде ее художник Циркачев дал пинка и выставил бабу Фатьму, потом остановился в метре от женщины Нонны и стал настраивать взгляд на ее глаза.

Целую минуту они молчали, а потом женщина Нонна плюнула и вышла, а художник Циркачев стал со злобой укладывать вещи.

25

Я МИРОТВОРЕЦ

Под ногой была шаткая земля обрывом в речку, на которой лии плыли разрывами. И сосны сучками торчали в чужих глазах и бревнами в моих, прозрачными коконами стволов, из которых повывезли в небо зеленые вершины. И тонкая ольха на берегу, согнувшись в три погибели, удила себя самое в тихой воде. И сердце мое волновалось и скакало не потому, чтобы где-то рядом Нонна - не было ее где-то рядом; не потому, чтобы я разведчик в тылу у врага, как солдат Тимохин рассказывал. А потому прыгало сердце на каждом шагу, как кузнечик из-под ног, что приехал я в качестве миротворца за город к Циркачеву, сознавая свою историческую ответственность, и шел по этому пейзажу, и пейзаж перепутался с ожиданием и кувиркался у меня перед глазами, как желтозеленый клоун под синим куполом.

Циркачев лежал большой с книгой в руках, как умирающий Некрасов на картине. Вокруг него стояли в полной готовности толстая баба Фатьма, летучая мышь, дачницы мне незнакомые и разные люди.

- Вот он! - закричал Циркачев, и все оглядели меня с головы до ног. - Что ж это, что ж это вы даже не постриглись, направляясь ко мне, а тут дамы и неудобно.

- Я миротворец, - сказал я.

- Какой лохматый, смотрите, - сказала Фатьма.

- Хорошо, знакомьтесь, - сказал Циркачев требовательно. - Это мой друг, Александр Хвост, выдающийся поэт. Это соседние нимфы, Фаина и Светлана, жертвуют собой, воспитывая потомство своих мужей. Это князь Оболенский, недавно из Харбина, знал Шаляпина, пшет мемуары, сам иногда поет. Мартына Задеку вы знаете - пропагандирует турецкую культуру и ценит мое творчество.

Овладев положением, Циркачев вдруг сказал:

- Что же это вы так подкачали, словно вы, который выше предрассудков, это вовсе и не вы, мой милый?

Я поймал выскочивший от волнения глаз, вставил его на место и сказал:

- Не понимаю вас.

- Будто? - закричал Циркачев. - Вы слышите, он не понимает!

- И все посмотрели на меня с любопытством, а многие с неодобрением.

- Там, вся эта толпа, праведники, труженики! - закричал Циркачев и вдруг тихо-тихо спросил:

- А откуда у вашей Нонны машина?

- Я понимаю, - сказал я. - Мне пора.

- Нет, - сказал Циркачев. - Пора, может быть, и пора, но машина у нее от бывшего мужа, который спился на пути к искусству, не имея сейчас ничего. А еще труженики, праведники!

Но я уже шел по дороге к станции, удивляясь лягушатам, которые прыгали из-под ног.

"Гугеноты! - думал я. - Именем короля! Дуэлянты! Что ж, дуэлянты такие же люди, как все..."

26

ЛЕТЧИК ТЮТЧЕВ В ДЕЛАХ СВОИХ

Громадный аэродром был пуст от всего, кроме ураганного ветра, самолета и кучки людей у края поля.

От кучки отделился летчик Тютчев и пошел к самолету - один, без всяких провожатых.

Это был самолет, для глаз сегодня еще совсем непривычный, из тех, что летают не в этом небе, а в том, которое видно станет, если взобраться на это небо - в том, которое оранжевое и ультрафиолетовое, которое черное и все напролет безоблачное.

То большое небо, для которого это наше небо паркетом, как бы даже корнем, а может, и просто пуховой подушкой.

И в то небо отправлялся летчик Тютчев, идя по пустому аэродрому к самолету, похожему не то на иглу с кашеевой смертью, не то на хищную рыбу из недосыгаемых морей.

Кучка стояла и смотрела, блистая орденами, погонами и складками, очками, околышами и биноклями в наблюдении настоящего.

И когда было пике из того большого неба в это и дальше с этого неба к земле, то получилось то, что не должно было получиться, и вся сумасшедшая сила летчика Тютчева шла прахом, разрывая ему внутренности, и точка на земле, куда свистела игла с кашеевой смертью, была на пустом аэродроме, где блестили ордена, погоны и складки.

- Шесть ноль шесть, - сказали самые большие погоны, и им ответили:

- Два ноль два.

И продолжали наблюдения, потому что до понимания было еще секунды, наверное, три.

Вся сумасшедшая сила летчика Тютчева, включая всех нас и его мексиканку, шла прахом, разрывая ему внутренности и в кровь из-под ногтей.

Секунды, наверное, три прошли, и очки, околыши и бинокли заволновались, но самые большие погоны смотрели по случаю вниз, говоря:

- Шесть ноль шесть.

И послушный голос ответил, смотря вверх:

- Два ноль два.

Когда своей силой и еще не своей силой, не щадя живота, летчик Тютчев добился своего и шел потом прочь от поля, отогнав врачей, потому что спешил, он даже не смог оглянуться.

КАК ЛЕТЧИК ТЮТЧЕВ РАЗНЯЛ ДЕРУЩИХСЯ И ПОВЕДАЛ ИМ О САМОЙ ЧТО НИ НА ЕСТЬ СУТИ

В этот день, после пике, шофер сказал:

- Может, вы дальше самостоятельно, Федор Иванович, боюсь, горячее, не дотяну.

- Давай, - сказал летчик Тютчев и пошел пешком, трудно ставя стопу на землю.

В нашем дворе иногда - очень редко, но все же иногда, - случаются драки, в которых никакого нет смысла, а одни только взаимные обиды, если вовремя не помешать. Причем дерутся только пьяные, не до бесчувствия пьяные, а только так, до воспаления, как бы сказать, мира.

Подходя, летчик Тютчев увидел сцену, так что пошел быстрее, хотя идти было трудно, даже если ставить ногу на землю осторожно. Однако он шел себе и шел, как полагается мужчине в расцвете сил и сдержанности, а потом побежал со всех ног, забыв про свои трудности и осторожности.

В этот день еврей Факторович и солдат Тимохин первые три часа пребывали в мире и дружбе, хотя солдат Тимохин сильно обогнал Факторовича в смысле развития событий, то есть, говоря просто и наобум, в смысле гораздо больше выпил, так как еврей Факторович вообще водку не любил и пил только из вежливости и чтобы не отстать. Зато действовало на него выпитое чрезвычайно убедительно, - он сразу постигал самую суть всего, о чем бы ни заговорили, и давал объяснения налево и направо, не гнушаясь правды.

- Понимаешь, - сказал солдат Тимохин в начале четвертого часа мира и дружбы, - понимаешь ли ты, что такое любовь, но различие в возрасте?

- Конечно, - сказал Факторович, который работал в магазине, продавая верхнюю одежду, и всего повидал на своем веку. - Я скажу тебе самое главное, ты следи за моей мыслью. Во-первых, настолько мил не будешь, а во-вторых, ты ей не пара, так как у тебя все позади, а у нее все впереди.

- Как так? - спросил солдат Тимохин. - Как так позади?

- Ты только следи за моей мыслью, - сказал Факторович. - Ты отстрелянный патрон, пустая гильза, а она с устремлениями.

- Как это отстрелянный? - рванулся Тимохин.

- Все твое поколение отстрелянное, только следи, я прошу тебя, за моей мыслью. Стоит в стороне от главной магистрали в ходе непрерывного перекура, - не гнушался Факторович правды и ее последствий. - А эта девочка, можно сказать, надежда всей России. Теперь я кончил, можешь отвечать мне.

Бывший солдат Тимохин набряк обидой и слезами, но до поры только дико смотрел на Факторовича немигающими глазами.

- Молчишь, - сказал Факторович, - тогда я тебе скажу. Наш Карнаухов недавно что сказал? Если, говорит не выйдет из меня мирового признания, то уеду я учителем в Забайкалье, в глушь и

дебри, и только эту девочку хотел бы я, чтобы там поселилась и женой моей согласилась, работая, скажем, медсестрой. И вот глушь, дебри, и мы с ней.

- А я? - закричал Тимохин дико, как антисемит.

- Отстрелянное поколение, - сказал Факторович.

- А ты сволочь, - сказал Тимохин вдруг и с убеждением. - Сволочь ты, если так.

Что такое драка? Тот же спор, только посредством силы врукопашную. Поэтому, когда Факторович схватил Тимохина за гимнастерку, а Тимохин Факторовича за белую рубашку с украинской вышивкой, то вполне можно сказать, что драка началась.

Тут к ним и подбежал летчик Тютчев, который сказал им во весь голос самую суть, разнимая:

- А ну, хватит.

28

болезнь летчика Тютчева

Летчик Тютчев заболел с опасностью для жизни.

Мы стояли и сидели по всей комнате, на всех стульях, подоконниках, даже на кровати, и никто не плакал, сдерживаясь, кроме девочки Веточки, потому что она ослабела душой и телом после любви и аборта, после всех этих переживаний с Циркачевым и Тимохиным.

И соседи сверху, и соседи снизу, и соседи справа, слева и напротив слушали, как подсолнечник солнце, летчика Тютчева, а женщина Нонна сидела, обняв мексиканку за узкие плечи, а мальчик Гоша стоял у ее, ноннинных, выдавших виды колен, и палец не был у него во рту, и руки не были у него в карманах, а болтались, позабытые, черт знает как.

- Все мы одна семья, - говорил летчик Тютчев. - Мы ходим хороводом вокруг перспектив, мы любим женщин друг у друга, и даже много более того, но у нас не вышло ничего такого, чтобы я, летчик Тютчев, забыл сказать: все мы одна семья, и первые пилоты, и парашютисты.

И кто-то спросил, не с заусеницей спросил, а чтобы набраться разума:

- А кого вы так именуете, Федор Иванович, в качестве первых и так далее парашютистов?

И летчик Тютчев сказал, болея:

- Первый пилот навел на азимут, а парашютисты посыпались, как зерно из мешка, кто добром, а кто и коленкой, жалея, у кого не раскрылось. А пилот плюет на парашют, имея вместо него парашютом небо, так что бери руль на себя, чтобы в нос шибанула высота, где Млечный путь семафорит а ля фуршет.

Тут женщина Нонна сказала, что пусть бы все шли и дали человеку поправиться, и все тихо пошли прочь, а навстречу вступали врачи во главе с самим секретарем райкома.

29

КОНЕЦ

Мальчик Гоша задрал голову и посмотрел в небо.

И его друг Витя тоже задрал голову и тоже посмотрел в небо.

Тогда мы все задрали головы и посмотрели вверх, а потомственный рабочий Вахрамеев сказал, протирая очки:

- Я так считаю, что все дело в трудовом подвиге.

А секретарь райкома подумал и подтвердил неторопливо:

- Вот это можно.

И задумался.

1960

Алексей ЛОСЕВ

ПАМЯТИ ВОДКИ

Стихи здесь подобраны, в основном, в порядке обратном хронологическому, что представляется мне наиболее естественным.

А.Л.

1979 - 1976

* * *

Памяти Ю.Р.

Он говорил: А это базилик.
И с грядки на английскую тарелку -
румяную редиску, лука стрелку.
И пес вихлялся, вывалив язык.
Он по-простому звал меня Алёха.
"Давай еще. По-русски. Под пейзаж!".
Нам стало хорошо. Нам стало плохо.
Залив был Финский. Это значит наш.

О родина с великой буквы Р,
вернее, С, вернее Ъ несносный,
бессменный воздух наш орденосный
и почва - инвалид и кавалер.
Простые имена - Упырь, Редедя,
союз Чека, быка и мужика,
лес имени товарища Медведя,
луг имени товарища Жука.

В Сибири ястреб уронил слезу.
В Москве взошла на кафедру былинка.
Ругнулись сверху, пукнули внизу.
Задребезжал фарфор и вышел Глинка.
Конь-Пушкин, закусивший удила,
сей китоврас, восславивший свободу.

Давали воблу - тысяча народу.
Давали "Сильву". Дуська не дала.

И родина пошла в тартарары.
Теперь там холод, грязь и комары.
Пес умер, да и друг уже не тот.
В дом кто-то новый въехал торопливо
И ничего, конечно, не растет
на грядке возле бывшего залива.

* * *

Грамматика есть бог ума.
Решает все за нас сама:
что проорем, а что прошепчем.
И времена пошли писать,
и будущее лезет вспять
и долго возится в прошедшем.

Глаголов русских толкотня
вконец заторкала меня,
и рот внезапно открывая,
я знаю: не сдержать узду,
и сам не без сомненья жду:
куда-то вывезет кривая.

На перегное душ и книг
сам по себе живет язык,
и он переживет столетья.
В нем нашего - всего лишь вздох,
какой-то ах, какой-то ох,
два-три случайных междометья.

* * *

От садов потянуло сиренью,
обстановка еще не ясна,
но пора сообщать населенью,
что весна наступила.
Весна...

Как под стиснутым лбом Пастернака,
под насупленным небом зимы
в ожидании важного знака
девять месяцев прожили мы.

Но, увы, ни намека, ни звука
разыскать не сумели врачи
сквозь волшебный прибор Левенгука,
помещенный над каплей мочи.

Просинела слегка атмосфера,
и дарит нам минутный кайф
anoter dream about *there*
contaminating our life.

МЕСТОИМЕНЯ

Предательство, которое в крови,
предать себя, предать свой глаз и палец,
предательство распутников и пьяниц,
но от иного Боже сохрани.

Вот мы лежим. Нам плохо. Мы больной.
Душа живет под форточкой отдельно.
Под нами не обычная постель, но
тухляк-тюфяк, больничный перегной.

Чем я, больной, так неприятен мне,
так это тем, что он такой неряха:
на морде пятна супа, пятна страха
и пятна черт чего на простыне.

Еще толчками что-то в нас течет,
когда лежим с озябшими ногами,
и все, что мы за жизнь свою налгали,
теперь нам предъявляет длинный счет.

Но странно и свободно ты живешь
под форточкой, как ветка, снег и птица,
следя, как умирает эта ложь,
как больно ей и как она боится.

* * *

Шаг вперед. Два назад. Шаг вперед.
Пел цыган. Абрамович пиликал.
И, тоскуя под них, горемыкал,
заливал ретивое народ
(переживший монгольское иго,
пятилетки, падение ера,
сербской грамоты чуждый навал;
где-то польская зрела интрига
и под звуки па-де-патинера
Меттерних против нас танцевал;
под асфальтом все те же ухабы;
Пушкин даром пропал, из-за бабы;
Достоевский бормочет: бобок;

Сталин был нехороший, он в ссылке
не делил с корешами посылки
и один персонально убёг).
Что пропало, того не вернуть.
Сашка, пой! Надрывайся, Абрашка!
У кого тут осталась рубашка?
Не пропить, так хоть ворот рвануть.

* * *

Чего хотел бы я в конце.
Иметь собаку на крыльце.
И у собаки жить жильцом
в скрипучем доме за крыльцом.

Под Пасху прорастет овес,
и заскулит под дверью пес,
почуяв на сердце ледок,
как воскресенья холодок.

КАНТАТА "VAGINA DENTATA"

(Два хора)

1

Ночью воздух сырой и плотный
напирает на дверь и окно.

2

Не ходи туда. Там темно.
Там живет пиздодуй болотный.

1-2

Скоро гости придут за нами,
отведут на советский плац.
Скрип флагштока и клац, клац, клац -
в самом центре пизда с зубами.

1

И товарищ палач Бородулин,
в сером мантиле, с фонарем,
нам навесит таких пиздюлин,
что мы сразу умрем.

2

Глянь: душа твоя, сучка-капризник,
запорхала по темным местам,
как по порховским темным кустам
предвечерняя птичка пиздрик.

ПАМЯТИ ЛИТВЫ (вальс)

Дом из тумана, как дом из самана.
Домик писателя Томаса Манна,
добрый, должно быть, был бурш.
Долго ль приладить колеса к турусам -
в гости за речку к повымершим прусам
правит повымерший курш.

Лиф поправляет лениво рыбачка.
Shit-с на песке оставляет собачка.
Мне наплевать, хоть бы хны.
Видно в горячую кровь Авраама
влита холодная лимфа саама,
студень угрюмой чухны.

И на лице забывая ухмылку,
Ясно так вижу Казиса и Милду
в сонме Данут и Бирут.
Знаете, то, что нам кажется раем,
мы, выясняется, не выбираем,
нас на цугундер берут.

Вымерли гунны, латиняне, турки.
В Риме руины. В Нью-Йорке окурки.
Бродский себе на уме.
Как не повымереть. Кто не повымер.
"Умер" зудит, обезумев, как immer,
в долгой зевоте jamais.

* * *

Я похмельем за вихры оттаскан.
Не поднять свинцовой головы.
В грязноватом поезде татарском
подъезжаю к городу Москвы.
Под ногами глина чавк да чавк.
Вывески читаю: главк да главк.
Иностранец, уплативший трешку,
силится раскупорить матрешку.
В чайке едет вождь, скользя по ближним
взглядом приблизительно булыжным
(он лицом похож на радиатор
чайки). Нежно гладит гладиатор
(Главк), как кошку, мелкую бутылку,
благодать сулящую затылку.

.....
Я пойду в харчевню Арарат.
Там полно галдящих и курящих.
Там вино, чеснок, бараний хрящик
по душам со мной поговорят.

* * *

Дом
наполнен теплом.
За стеклом
непогода.
Я не знаю, куда мы плывем,
но я чувствую дрожь парохода.
Это, наверное, тысяча восемьсот
год
какой-то из семидесятых.
Мы не знаем, куда нас несет,
пассажиров усатых,
при жилетах, цепочках, хороших манерах, при по-
зитивных началах...
Снег крупной.
Дождь рябой.
Многотонный прибой
молотобой-
ствует в скалах.
Но еще можно кофе сварить,
отворить
толстый томик российских стихов -
'Пир во время чумы': есть упоение...
Накрахмаленный captain, возглавляющий table d'hôte,
нам рассказывает анекдот
(он давно потерял управление
кораблем, но еще зеркала
рассмеются любезно
и еще в четырех миллиметрах стекла
мрак и бездна).

ОТЪЕЗД

и как будто легко я по трапу бежал,
в то же самое время я как будто лежал
неподвижен и счастлив всерьез,
удивляясь, что лица склоненных опухли от слез

и тогда вдруг что-то мелькнуло
в помертвелой моей голове,
я пальцами сделал латинское V
(а по-русски, соорстил рога)
Помолитесь за меня, дурака

ЧУДЕСНЫЙ ДЕСАНТ

Все шло, как обычно идет.
Томимый тоской о субботе,
толокся в трамвае народ.
Томимый тоской о компоте,

тащился с прогулки детсад.
Вдруг ангелов Божьих бригада,
небесный чудесный десант
свалился на ад Ленинграда.

Базука потрянула кусты
вокруг Эрмитажа. Осанна!
Уже захватили мосты,
вокзалы, кафе "Квисисана".

Запоры тюрьмы смещены
гранатой и словом Господним.
Заложники чуть смущены --
кто спал,
кто нетрезв,
кто в исподнем.

Сюда -- Михаил, Леонид,
три женщины, Юрий, Володи!
На запад машина летит.
Мы выиграли, вы на свободе.

Шуршание раненных крыл,
влачащихся по тротуарам.
Отлет вертолета прикрыл
отряд минометным ударом.

Но таяли силы, как воск,
измотанной ангельской роты
под натиском внутренних войск,
понуро бредущих с работы.

И мы вознеслись и ушли,
растаяли в гаснущем небе.
Внизу фонарей патрули
в Ульяновке, Гражданке, Энтеббе.

И тлеет полночи потом
прощальной полоской заката
подорванный нами понтон
на отмели подле Кронштадта.

Из музыкальной школы звук гобоя дрожал, и лес в ответ дрожал нагой. Я наступил на что-то голубое. Я ощутил бумагу под ногой. Откуда здесь родимой школы ветошь, далекая, как детство и Москва? Цена 12 коп., и марка "Светоч", таблица умножения, 2 x 2...

ВЫПИСКИ ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

КН. ШАХОВСКОЙ-ХАРЯ

вечно в опале у государя.
Полжизни - то в Устюге, то в Тобольске.
Видимо, знал по-польски.
Единственный друг - дьяк
Васильев Третьяк.

ПОЛОЦКИЙ СИМЕОН

Сочинял Рифмологион.
Лучшие рифмы:
похотети - имети
молися - слезися
творити - быти

ЕВСТРАТИЙ

сочинял в виде рыбки.
Делал ошибки.

КОЗАНСКИЙ 2-й

При императоре-преобразователе Петре
ввел в России употребление тире (-)
и яблочного пюре.
Умер, тоскуя о вырванной ноздре.

КАНТЕМИР (МОЛДАВИЯ)

Латынь! утратив гордые черты,
пристойный вид и строгую осанку,
в неряшливую обратясь славянку,
полуцыганкой - вот чем стала ты.
Не лебедь дивная, а глупая гусыня,
аморе петь забыв, бормочешь пияя.

Откидывает с винной кружки крышку,
макает пальцами в баранье сало хлеб,
лелет долгожданную отрывку,
бабенку загоняет в скотий хлев.
И пробирает скользкий ходунок
нечесаную хамку между ног.

АНДРЕЙ БЕЛОБОЦКИЙ

Ах, червячки. Ах, бабочки в траве.
Кудрявые утесы. Водоносы...

Все те, кто знали грамоте в Москве,
писали только вирши да доносы.

Его же столь лелеемый диплом,
полученный в стенах Вальядолида,
для них был точно горькая обида -
ну как тут не прослыть еретиком.

Но тут они хватили через край.
Он получает повышение в чине.
Но тут подводит знание латыни,
и он командировается в Китай

в состав посольства (видимо, Москва
беседует с Пекином на вульгате)...
Запас вина иссяк до Рождества,
но пристрастился к опиуму к стати.

Китайский Рим. Патриции в шелку
в поляке презирают москowitzа.
Посол лютует. Интригует свита.
И надо быть все время начеку.

О Матерь Божия, куда я занесен.
Невольно появляются сомненья
в реальности. "La vida es sueño".
"Жизнь это сон". Как дальше? "Это сон..."

От диарреи бел, как молоко,
среди желтых уток белая ворона,
пан Анджей тшится вспомнить Кальдерона.
Испанский забывается легко.

КАНТЕМИР (ПЕТЕРБУРГ)

Не натопить холодного дворца.
Имея харю назамен лица,
дурак-лакей шагает, точно цапля,
жемчужна на носу повисла капля.
В покоях вонь: то кухня, то сортир.
Ах, невозможно не писать сатиру.

ПЕТРОВ

На пегоньком Пегасике верхом
как сладко иамбическим стихом
скакать, потом на землю соскочить,
с поклоном свиток Государыне вручить.

О Государыня, кротка твоя улыбка,
полнощные полмира озарив,
волшебное, подобное как рыбка,
зашиито в твой атласный лиф.

Но Государыня изволила издрать.
Ну что ж, поэт, последний рубль истрать
Рви волосы на пыльном парике
среди профессоров в дешевом кабаке.

Одописание - опасная привычка,
для русского певца нормальный ход.
Живое и подобное как птичка
за пазухой шинельных од.

БАТЮШКОВ (Der Russische Waltzer)

Ты мне скажешь - на то и зима,
в декабре только так и бывает.
Но не так ли и сходят с ума,
забывают, себя убивают?

На стекле заполярный пейзаж,
балерин серебристые пачки.
Ах, не так ли и Батюшков наш
погружался в безумие спячки?

Бормотал, что мол что-то сгубил,
признавался, что в чем-то виновен.
А мороз между прочим дубил,
промораживал стены из бревен.

Замерзало дыханье в груди.
Толстый столб из трубы возносился.
Декоратор Гонзаго, гляди,
разошелся, старик, развозился.

С мутной каплей на красном носу
лез на лесенки, снизу елозил,
и такое устроил в лесу,
что и публику всю поморозил.

Кисеей занесенная ель.
Итальянские резкости хвои.
И кружатся, кружатся досель
в русских хлопьях Психеи и Хлои.

ПУШКИН

Собираясь в дальнюю дорожку,
жадно ел моченую морошку.
Торопился. Времени в обрез.
Лез по книгам. Рухнул. Не долез.
Книги - слишком шаткие ступени.
Что еще? За дверью слезы, пени.
Полно плакать. Приведи детей.
Подведи их под благословенье.
Что еще? Одно стихотворенье.

Пара незаконченных статей.
Не отправленный в печать номер.
Письмецо, что не успел прочесть.
В общем, сделал правильно, что умер.
Все-таки, всего важнее честь.

*Ну, вот и все. Я вспоминаю вчуже пустой осенний выморочный день,
на берегу большой спокойной луны, где желтая качалась дребедень,
тетрадку, голубевшую уныло, с названьем недвусмысленным - "Тет-
радь". Быть может, поднимать не нужно было, а может быть, не сто-
ило терять.*

1976 - 1965

Я вышел на Аничков мост,
увидел лошадиный хвост
и человеческий зад;
промеж чугунных ног - шалишь! -
не признак мужества, а лишь
две складочки висят.

А тот, кто не жалея сил
(бедня-) конягу холостил,
был сходства не лишен
с железным парнем из гб,
с чугунным пухом на губе,
хотя и нагишом.

Тут мимолетный катерок,
как милицейский ветерок,
промчался, изменя
Фонтанки мутное стекло.
Я понял: время истекло.
Буквально - из меня.

Я обезвремениен, я пуст,
я слышу оболочки хруст,
сполна я порастряс
свои утра и вечера,
их заменить пришла пора
квадратами пространств.

Ступенек столь короткий ряд,
на коих, нет, не говорят
последние слова.
(И в этом смысле самолет
напоминает эшафот.)

Куда направлен твой полет,
шальная голова?

* * *

Под стрехю на самом верху
непонятно написано ХУ.
Тот, кто этот девиз написал,
тот дерзнул угрожать небесам.
Сокрушил, словно крепость врагов,
ветхий храм наших дряхлых богов.
У небес для забытых людей
он исхитил, второй Прометей,
не огонь, голубой огонек -
телевизоры в избах зажег.
Он презрел и опасность и боль.
Его печень клвет алкоголь,
принимающий облик орла,
но упрямо он пьет из горла,
к дому лестницу тащит опять,
чтобы надпись свою дописать.
Нашей грамоты крепкий знаток,
он поставит лихой завиток
над союзною буквою И,
завершая усилья свои.
Не берет его русский мороз,
не берет ни склероз, ни цирроз,
ни тоска, ни инфаркт, ни инсульт,
он продолжит фаллический культ,
воплотится в татарском словце
с поросячьим хвостом на конце.

АВТОБУС ИЗ НАРВЫ

Это так, в порядке бреда.
Едут рядом два техреда.
Предприятие "Фосфорит"
отравляет всю природу,
то есть почву, воздух, воду,
скоро всех нас уморит.

Тряская дорога. Пово-
рот. Кривит усмешка снова
рот. Уж триста лет подряд,
соревнуясь - кто зловонней,
Русский, Прусский и Ливоний
предприятия дымят.

Над откосом подоженным
возвышается донжоном
старый замок и в упор

видит русского соседа.
Между ними не беседа
через речку, а укор.

Русский замок - маразматик,
в обветшалый казематик
заползает вялый слизень.
Это так - помарки в гранки,
заготовочки, болванки,
как и вся, вообще-то, жизнь.

* * *

В трамвае, переполненном народом,
на самом первом месте, перед входом,
в руках сжимая *красное* пальто
какого-то дошкольного размера,
уродливая бледная химера,
взахлеб рыдала женщина.

Никто
старался не смотреть. И я в окно
глядел, как дождь с терпеньем ненапрясным
все краски размывал. Но все равно
мне все казалось нестерпимо *красным*.

* * *

Ну, слава Богу, есть что пить и есть.
Теперь твой зад обтянет синий деним.
Вот мы теперь послушаем, оценим,
вот мы теперь посмотрим, кто ты есть.
Да ладно, что там! Душу заголи,
купи автомашину жигули,
построй себе усы и бакенбарды,
настрой гитару, запишися в барды,
и пальцами по струнам шмяк да шмяк,
как бы снимая с жирной свечки копоть,
при этом не забудь ногою топтать,
обутой в крепкий импортный башмак.

Но что же ты, владелец бакенбард,
ползешь со стула, как петух с насеста,
за грудь хватаясь? Там ведь нету сердца,
а боль - так это лопнул миокард.

* * *

Вот и осень. Такие дела.
Дочь сопливится. Кошка чумится.
Что ж ты, мама, меня родила?
Как же это могло получиться?

По-пустому полдня потеряв,
взять дневник, записать в нем хотя бы
"Вторник. Первое октября.
Дождик. Первое. Вторник. Октябрь".

* * *

Тевтонские воинственные гонги
и английские дифтонги и трифтонги,
и франка авангардная гортань -
все вопиялогромко о победе,
и бледный Рим при звуках чуждой меди
считал свой пульс и думал: "Дело дрянь"

А позади, в обозах, при слияньи
Донца и Дона, смутные славяне
замешкались, остались позади.
Их Скотий Бог под выпуклыми лбами
нашепывал горячими губами:
"Построй здесь домик. Садик посади".

Несутся ввысь стальные эскадрильи.
И Рим, как Лир, страшится Гонерильи,
а Византия царственно черства.
Кровавый пар клубится по-над лугом.
Мальчишка-гунн, вооружившись луком,
нас добивает, так, из озорства.

жалобы КОТА

Горе мне, муки мне, ахти мне.
Не утешусь ни кошкой, ни мышкой.
Ах, темно в октябре, ах, темней
в октябре, чем у негра под мышкой.

Черт мне когти оставил в залог.
Календарный листок отрываю.
Увяжи меня, жизнь, в узелок,
увези на коленях в трамвае.

Или, чтобы скорее, в такси.
И, взглянув на народа скопление,
у сердитой старухи спроси:
"Кто последний на усыпленье?"

* * *

Петренко вскочил в половине восьмого.
Неясен был сон и кошмарен к тому ж.
Петренко сказал непечатное слово,
включив над собою мучительный душ.

Пока пригорала и булькала каша,
Петренко будил своих сына и дочь.
Вставали в кроватках Витюша и Даша.
За окнами медленно таяла ночь.

Текла по кастрюльке горелая пенка,
и ложки скрипели, и после восьми,
жуя на ходу, одевался Петренко
и долго и нежно прощался с детьми.

И, пообещав им игрушки и сласти,
спешил на работу, оставив детей
во власти двух женщин, живущих во власти
дурных настроений и странных идей.

juvenilia

воробей

У дедушки в окошке
есть птичка воробей.
Поет он и играет
среди елочных ветвей.

Старик с улыбкой кроткой
глядит на воробья
и думает: "Ужотко,
ведь я - судьба твоя.

Покончил я с учительством,
заброшена семья,
и занялся мучительством
простого воробья.

Эх, птичка-невеличка
да коготок востер.
Эх, был я помоложе
да на расправу скор.

Теперь уж мне другого
веки не поймать
и потому я этого
не в силах доконать".

И плачет, и трясется,
и мучится старик.
А воробей смеется:
чирик, чирик, чирик.

Селедка

Как тускло блещущая лодка,
она плывет себе, селедка,
в окне на первом этаже,
разрезанная уже.

Разбрасывая волны лука,
разделанная на куски,
она кричит: "Вперед, разлука,
бежать любви, бежать тоски!"

Была назначена к продаже
и куплена за два рубля,
теперь опять уйду бродяжить,
ходить под килем корабля.

Пускай, нацелившись с ухмылкой,
меня подцепливают вилкой,
пускай кромсают и, увы,
пусть варят суп из головы,
пускай старательно жуют -
я мыслю значит я живу!"

СЛОН

В зоопарке помирает слон.
Он отходит, как корабль на слом.
Ему хоботом уже не шевелить,
ему топотом детей не веселить.

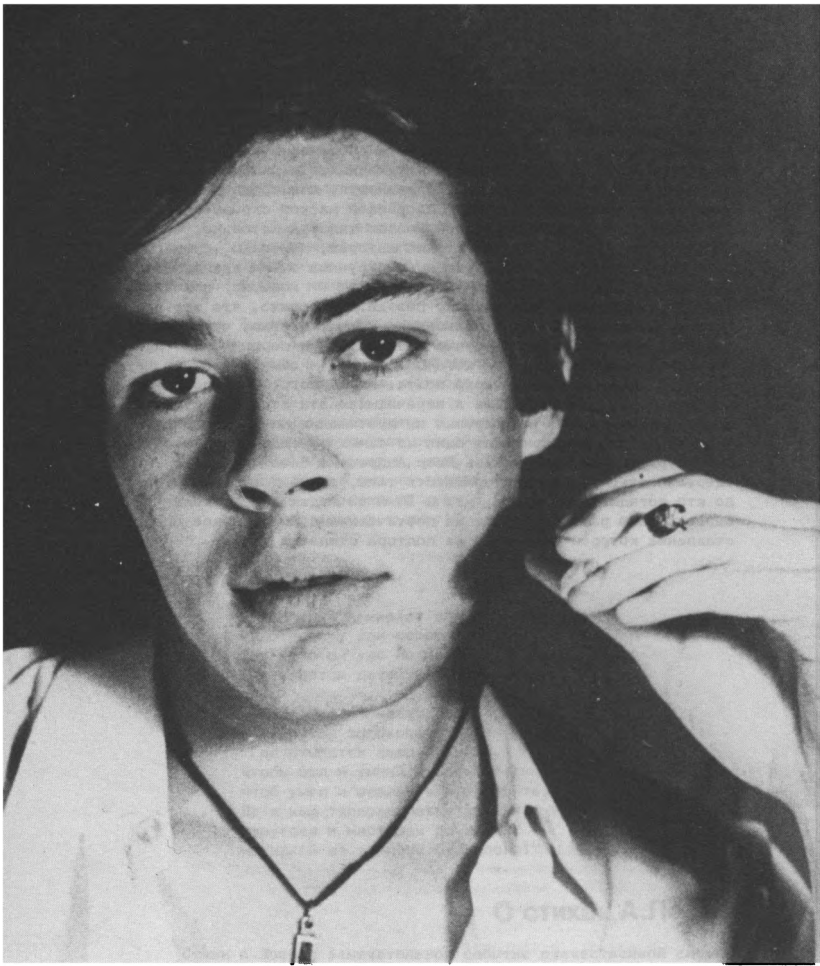
В зоопарке помирает слон.
А директор зоопарка огорчен:
"Где отыщется зверь другой,
чтобы был и умный и большой,
чтоб умел и шевелить и веселить.
Да и кем теперь клетку заселить -
попугаев и мартышек до хрена,
но какой же зоопарк без слона!"

О стихах А.Лосева

Стихи А.Лосева замечательное событие отечественной словесности, ибо они открывают в ней страницу дотоле не предполагавшуюся. В той или в иной степени русская поэзия (особенно поэзия второй половины 20 века) всегда поэзия крайностей: крайней трагичности, крайней подавленности, крайней набожности, крайней категоричности, крайней иронии, крайней эзотеричности, крайнего саморазрушительного цинизма. А.Лосев - поэт сдержанный, крайне

сдержанный. Безусловно, у любого из авторов, угадываемых за вышеприведенными дефинициями, можно обнаружить отдельные стихотворения и даже целые циклы, отмеченные мироощущением, близким лосевскому; однако это всегда интермедия, привал комедианта или трагика. Лосевская сдержанность – это система, и система столь же психологическая, сколь и стилистическая. Традиционность его строфики сама суть дань этой сдержанности, ибо традиция часто лишь благородное имя маски. За лосевской маской скрывается лирический герой нового в русской поэзии типа, не столько более сложный, чем у предполагаемых выше авторов, сколько суммарно вобравший в себя всю палитру демонстрируемых этими авторами мироощущений. "Всякий новый крупный поэт, – говорил покойный Т.С.Элиот, – меняет перспективу поэзии." Возможно, что это не сколько чересчур обширное заявление; но несомненно, что стихи А.Лосева помогут читателю лучше разобраться в перспективе лосевских современников. "На кого он похож?" – обычный вопрос читателя по поводу неизвестного поэта. Ни на кого, хотелось бы мне ответить; но чем больше я перечитываю эти стихи, о существовании которых я не подозревал на протяжении двадцати лет, тем чаще на память мне приходит один из самых замечательных поэтов Петербургской Плеяды – князь Петр Андреевич Вяземский. Та же сдержанность, та же приглушенность тона, то же достоинство. Мало кто догадывается о том, что в 50 и 60 годах нашего века на берегах Невы разыгралась та же поэтическая драма, первое представление которой было дано на полтора столетия раньше.

Иосиф Бродский



Вадим Делоне

Вадим ДЕЛОНЕ

ПОРТРЕТЫ В КОЛЮЧЕЙ РАМЕ

Дверь камеры, где я переодевался, готовясь на этап, открылась со знакомым скрипом. На пороге появилась фигура полковника Петренко. Я поднялся, исполняя инструкцию приветствовать начальство стоя. "Скоро узнаете, Делоне, лагерь - не Лефортовская тюрьма, там с вами на "будьте любезны" разговаривать не будут. Быстро сломают. И запомните раз и навсегда - мы никогда не позволим вам говорить то, что вы думаете... Все-таки я вас не понимаю. Способный парень, ни в чем не нуждались, жили бы, как все люди. Не любите вы сами себя, что ли?"

Я вовсе не считал, что не люблю себя. Я прекрасно знал, что люблю себя даже слишком сильно, и единственное мое утешение: ведь сказано в Евангелии - "Люби ближнего, как самого себя".

Нет, если бы я себя не любил, разве сжималось бы горло от стыда, когда читал я в газете "Правда" об единодушной поддержке всем советским народом мер по оказанию помощи Чехословакии. Нет, я слишком любил себя, чтобы смириться с этим. Мне вспомнился Достоевский, "Братья Карамазовы", как Иван Карамазов говорит, что он готов полюбить все человечество, но только абстрактное человечество. Что готов даже на подвиг, на какие угодно муки, но вот конкретного ближнего он никак полюбить не может и для какого-нибудь пьяного и хитрого мужичонки даже пальцем не пошевелит. Да и для самого себя тоже. Сколько их, пренебрегавших ближними ради абстрактной идеи - от Нерона до Дантона, от Ивана Карамазова и Верховенского до Ленина и Сталина.

"И все-таки я не понимаю, - продолжал Петренко - ваш дед - известный математик, академик, ваш отец-физик на коммунизм работают всю жизнь, на нас. А вы против - как же так?" Да, думал

я, в том-то и суть, что молча все мы на вас работаем, на танки, которые в Праге, на тех, кто тридцать лет назад пытал в тех стенах, где сейчас ведут со мной задушевные беседы, отправляя в концлагерь.

Нет уж, увольте меня от вашего коммунизма. "Я возвращаю вам билет" в это светлое будущее. Выдайте мне вместо советского паспорта, "серпастого и молоткастого", которым так гордился поэт Маяковский и его последователи, выдайте мне копию ПРИГОВОРА ИМЕННОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Я мало верю, что в скором времени смогу предъявить его вам как обвинение. Но это моя индульгенция перед собой, перед ближними, перед Прагой.

Я с грустью думал о том, что покидаю стены тюрьмы. Лефортово, тишина которого многих сводила с ума, теперь казалось мне чуть ли не последним пристанищем, последней возможностью побыть с самим собой наедине. Ведь впереди этап в Сибирь.

Заскрипели, залязгали двери, захлопнулась крохотная клетушка уже знакомого воронка, в которой даже закурить невозможно - так стиснут ты качающимися, наплывающими на тебя в дорожной тряске железными стенами. И снова изнурительный шмон перед входом в пересылку Красная Пресня. Собирая растерзанные вещички в боксике предварительных камер, я прислушивался к многоголосой переключке. Тревога и ожидание пути в неизвестное, пути, с которого можно и не вернуться, будоражит людей, взвинчивает их до предела. Из всех боксиков, по всему гулкому переходу неслись истощенные крики, брань, песни. Голоса перекрывали друг друга и терялись, вопрошали, не дожидаясь ответа, и отвечали никому и всем сразу. И вдруг в этом хаосе криков я узнал знакомый голос Володи Дремлюги, моего подельника. Радость, обаявшая нас обоих, была неопишуемой, как будто не два месяца, а десятки лет прошли со времени нашей последней встречи в зале суда на скамье подсудимых. "Вадик, - кричал Дремлюга, надрывая свой и без того зычный голос, - Вадик, я двужильный, я все выдержу, я из работяг, с детства скитаюсь, я не пропаду, глотку им всем перегрызу, ты же знаешь, кому угодно лапши на уши навешаю. В случае чего в побег уйду, все равно вырвусь из этого социалистического концлагеря. А тебя ведь затравить могут, я им за тебя никогда не прощу. Ты же поэт, они над тобой издеваться будут. Эх, только бы в одну зону попасть, вместе..." Милый Дремлюга, - думал я, - где уж там в одну зону. Лагерьей по России не счесть..." Дремлюга понял мое молчание. "Вадик, почитай стихи на прощанье!" - крикнул он. Я начал читать отрывки из своей Лефортовской баллады:

.....
Чем дышишь ты, моя душа,
Когда остатки сна ночами
Скребнут шагами сторожа,
Как по стеклу скребнут гвоздями?

Там за решеткой, на заре,
Там, за разделом хлебных паек,
На белокаменной зиме
Раскинул иней ряд мозаик.

Но вдруг, душа, в моей казне
Не хватит сил - привычка к шири,
И дни, отпущенные мне,
Одним движеньем растрянжиру?

А если я с ума сойду -
Совсем, как сходят без уловки,
На полном поезда ходу,
Не дожидаясь остановки?

.....
Я вижу профиль Гумилева,
Ах, подпоручик, ваша честь,
Вы отчеканивали слово,
Как шаг, когда вы шли на смерть.

Вас не представили к награде,
К простому третьему кресту,
На Новодевичьем в ограде,
И даже скромно на миру.

И где могила Мандельштама,
Метель в Сучане не шепнет,
Здесь не Михайловского драма -
Куда похлеще переплет.

На глубину строки наветы...
За голубую кровь стихов
В дорогу, синюю от ветра,
Этапом мимо городов.

И он строфы не переправит...
И умирая, понял вновь,
Что волкодавов стая травит
Не только тех, в ком волка кровь...

Потом Галича, потом еще чьи-то, читал, надрываясь, с таким восторгом, как не читал никогда прежде и потом. Мандельштама я все откладывал, берег напоследок. Я знал, что в этих самых боксиках этой самой пересылки тридцать лет назад за свои бессмертные стихи погибал Осип Мандельштам. Я вспомнить хотел эти несколько строк и дать им рождение второе.

Гомон в камерах улегся. Пересылка затихла. В гулком коридоре стихи были отчетливо слышны:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца -
Там припомнят кремлевского горца.

Двери боксика распахнулись. Сизый от ярости капитан даже не кричал, а как-то всхлипывал, захлебываясь слюной: "Сука, анти-советчик, фашист! В наручниках мы тебя обломает!" Двое здоровен-

ных надзирателей деловито ткнули меня головой об стену. Изящные браслеты американского производства сомкнулись на выгнутых за спиной руках. Щемящая боль покатила по позвоночнику. Меня пинками поволокли к боксу особого назначения. В другую сторону волокли Дремлюгу. Последнее, что я слышал, - его отчаянный крик: "Гады, коммунисты хуевы, не трогайте Делоне, не смейте, всю персылку на ноги подниму!"

Не знаю, когда я очнулся и каким образом вообще пришел в себя. Я только понял, что стою на коленях, упершись лицом в цемент. Примерно около получаса я пытался подняться, но это вызвало страшную режущую боль. Я давно слышал про американские браслеты, что каждое движение приводит к тому, что цепочка на наручниках защелкивается еще на одно деление. Торжество автоматки! Заключенный пытается самого себя. Не нужно применять силу и утруждать надзирателей. Но я все же продолжал пытаться себя, пытаться с одной только целью - подняться на ноги. За моими упражнениями наблюдали с двух сторон, через два глазка, один из которых наподобие перископа был вмонтирован в стену толщиной около трех метров. Глазки открывались, и в них появлялось "недремлющее око". Я все-таки встал и уперся лбом в стену. Дверь открылась, и появился уже знакомый мне капитан. Он все еще не мог успокоиться - такое сильное впечатление, очевидно, произвела на него моя поза. Он дышал мне в нос винным перегаром и тыкал в лицо горящей папиросой. "Щенок, чехов вздумал защищать, там наши парни гибнут, а ты в адвокаты полез". "Не надобно войска вводить, когда не просят", - выдал я. "Ах, войска вводить не надо, гад, мы, если б не эти американцы, и по Германии бы прошлись и подальше, а ты, значит, против. Ничего, скоро порядок наведем, всех вас сгноим. А тебе, запомни, из лагеря не выйти, не поможет тебе "Голос Америки", кровью харкать будешь, сволочь интеллигентская. Я бы сам в чехов стрелял, да вот таких как ты, вредителей, охранять приходится". На этом его красноречие иссякло. Я то приходил в себя, то снова исчезал в какой-то липкой пелене. Дверь снова скрипнула, и я приготовился к новому докладу о международном положении и моей предательской роли в нем. Но на пороге стоял пожилой надзиратель. Опасливо озираясь, он втиснул мне в разбитые губы уже закуренную сигарету. "Покури, покури, сынок, эконо на тебя накинусь. Тут все офицерье, как прочитали в газетах про вашу демонстрацию, никак успокоиться не могут, только и злорадничают, к нам, мол, придут, голубчики, никто Красной Пресни не минует, а капитан этот за пьянку из армии списан и во всем интеллигенцию винит, а что они ему сделали, ума не приложу. Я бы давно с этой работы подлой ушел, да из деревни я, инвалид, а в Москве только на такой службе прописку получить можно. Все сытнее, чем в колхозе, и комнатенка казенная". Он все говорил и говорил, поднося к губам и давая затянуться своей сигаретой, как будто вливал в горло больному глоток холодной воды. В общую камеру меня втащили уже к ночи. Первые ехидные фразы, которыми обычно встречают новичка, быстро утихли, когда блатные пригляделись. Сквозь туман я слышал голоса. "Чего это с ним, начальник? Доходяга, что ли? За что это его?" Чьи-то руки подняли меня и уложили на нары. Спал я, очевидно, долго и, когда проснулся, по-

нял, что моего пробуждения ждали с любопытством. "Сколько же они тебя в браслетах продержали, землячок?" "Не знаю, часов шесть наверное". - "Шесть! Суки поганые! Не положняк! Медицинская норма полчаса! Ты же мог подохнуть. Это обрыв крови, и позвоночник ломает самозатягивающаяся змейка. А за что это ты сидишь, за какую политику?" Руки у меня не двигались, но сознание возвращалось. Я вдруг понял, почему ко мне относятся с таким искренним почтением. Я был на всю камеру единственным обладателем шевелюры. Из всех следственных тюрем не бреют головы только в Лефортово. Если бы я вошел в камеру в смокинге, я вряд ли произвел бы большее впечатление. "Так что за политика такая?" - выспрашивали меня. - "Да понимаешь, земляк, за чехов заступился, устроил кипеш на Красной площади". Камера загудела. Газеты в пересыльной тюрьме полагались ежедневно, и все, конечно, прочли два потрясающих по своей загадочности фельетона "В расчете на сенсацию" и "По заслугам". И вдруг один из героев лежит с ними на нарах. Поднялся невероятный гвалт. Обо мне почти забыли. Выясняли свое отношение к происшедшему и причины, которые побудили меня на такую политику. Спорили между собой вплоть до драки и бесконечной ругани. Наконец, иссякнув, обратились ко мне: "Земляк, не томи душу. Мы вот все спорим, сколько вы у американцев денег получили? Мы думаем, так что если тысяч за полста, то дело доброе, мы бы тоже пошли". Я не обиделся даже, а как-то растерялся. Все пытался доказать, что ничего не получил ни от каких американцев, а выступал, чтоб каждый жил, как хочет. Блатные понимающе кивали. "Ну да, политик, что там говорить, мы знаем, везде осторожность нужна. Вот и в наручниках, видать, из тебя ничего не выпытали..." Интерес ко мне был явно утерян, и основной разговор сводился к бесконечным спорам о том, за какую сумму можно пойти на срок. Молчание мое вызывало почтение, а возбуждение камеры не знало границ. На второй день голову мою и мошонку побрили, приведя меня к виду, предписанному инструкциями.

Пересыльная тюрьма - это странный форпост свободы. Единственное уникальное место в России, "в большой и малой зоне", то есть в лагерях и на воле, где человек кричит, говорит, шепчет все, что хочет. Ему все равно. Приговор подписан. Ничто не изменит его судьбу.

Назад уже поздно. Мосты сожжены,
Лишь пепел летит за спиной,
Как судорогой, судьбы людей сведены
Глухой пересыльной тюрьмой.
Не жди, не надейся в душе повторить
Приметы любви и тревоги,
Как желтые листья, прошедшие дни
Метнутся и рухнут под ноги.

И человек кричит - зная, если был, и чувствуя, если не был в лагерях - что ждет его впереди бесконечная слезка, борьба за кусок хлеба и срок свободы, который могут отодвинуть одним росчерком пера на годы. На пересылке же все проездом, транзитом. Проводники ГУЛага не очень стараются навести порядок. На месте

разберутся, кого за что и как гноить. И камера моя веселилась. "Политик с нами сидит". - И смелость безнаказанной толпы бушевала в моих попутчиках, просилась наружу. Блатные бросились на решку, и в старой Краснопресненской тюрьме неслись, ударяясь о стены, лозунги: "Свободу американским летчикам, сбитым над Вьетнамом! Хуй соси, читай газету, прокурором будешь к лету! Да здравствует английская королева! Ребята, с голоду пухнем, коммунисты всю кровь через хуй высосали! Зови сюда комиссию ООН! Обратимся к американскому президенту!" - И по камерам раздавалось дружное ура.

В этих бессмысленных исступленных криках слышал я брань коммунальных квартир, где они коротали детство, сдавленную боль и ненависть ребят из голодных советских колхозов... И я не мог оставить эту страшную, хмельную без хмеля отвагу. Пройдет несколько страшных лет, и так же нем я останусь перед молодыми французскими гошистами, которые, поддерживая духовное сопротивление в России, кричали против проклятой буржуазии. Не потому что вместе с ними хотел бы ее искоренить, а потому, что именно буржуазия эта предала и продала цивилизацию и тех самых ребят в камере на Красной Пресне. Потому что ни одним сантиметром не поступят они ради ближнего, ради самих себя, своей чести, если продать ее удастся дорого...

Пересылка гудела. Окна тюрьмы смотрели во двор, откуда ежедневно уходили этапы в разные края, на Восток, в Сибирь. Неистовым особым восторгом загорались камеры, когда отправляли женский этап. Блатные бросались к решеткам окон, и даже стальные намордники каким-то чудом разрушались на глазах. В последний раз на долгие годы увидеть женщин, и вся тюрьма нестройным хором радостно выводила:

Гоп-стоп, Зоя, кому давала стоя,
Давала Зоя стоя начальнику конвоя.

Песню эту подхватывал внизу, в каменном колодце двора, женский хор. Конвой начинал нервничать, неслись в адрес гражданок-заключенных предупреждения и брань. Только того и ждали мои сокамерники. Как по таинственному знаку снизу или свыше (никогда этого не поймешь), они срывались в бешеный крик: "Козлы, педерасты, менты проклятые! Лизоблюды! Только с бабами расправляться можете!" Камни Краснопресненской тюрьмы звучали как призывные тамтамы. В камеры во главе с офицерами врвались, гремя ключами, надзиратели. На час воцарялся покой, и вдруг со двора чей-то тоненький женский голос запевал снова. И снова, по единому этому зову, поднималась тюрьма, лезла на решетки окон, колотила в железные двери.

Через пару дней меня перевели в другую камеру, где встретили меня с удивлением. Компания тут была куда посолидней предыдущей, возраст - не меньше сорока лет. Заправила обратился ко мне снисходительно и недоуменно: "Куда это тебя, пацан? Тут менты, видно, ошиблись: у нас особняк (особый режим), у всех по четыре ходки (судимости)". Я скромно доложил, что иду на общий режим и сижу за политику. Оказалось, что и до этой отдаленной камеры уже дошла весть о политике. Гордыня моя была удовлетворена

сверх меры, ибо знатные урки столпились вокруг меня и засыпали вопросами. Их очень взволновало, по какому праву меня посадили в камеру к рецидивистам. Они, к моему удивлению, прекрасно знали советские законы и не преминули этим воспользоваться. Начался шум и крик, они ломали дверь, крыли последними словами каждого приближившегося надзирателя: "Бляди, пацана испугались! У вас же записано, что ему сидеть с ворьем мелким. Свои законы нарушаете, коммунисты! Мы правды требуем!" Я малость опешил от этого заступничества и юридического гнева моих союзников. Начальство молчало, камера ликовала, зная свою правоту. Сколько раз их судили строго по закону, якобы строго в соответствии с предъявленной статьей уголовного кодекса. Сколько раз отметалось их голодное послевоенное прошлое, сколько раз судьи закрывали глаза на то, что никуда не могли они деться после лагерного срока, кроме своих прежних воровских компаний - не принимали их ни в родные города, ни на заводы, ни в деревнях. Сколько раз потом они угрюмо слушали свой приговор. А сейчас они торжествовали призрачную победу. Они шли не за мной. Они шли за себя и не давали меня в обиду.

Стали вызывать на этап. "Не трогай политика, начальник, аккуратнее шмонай, не хаами. А то сам знаешь, нам все равно, что пятнадцать лет, что расстрел". И сила подневольных и обреченных в первый, но не в последний раз поднимала меня. Конвойные, которые еще два дня назад, издеваясь надо мной, бросали мне в лицо скомканные после обыска шмотки, теперь покорно складывали их в мой мешок, как служащие самого респектного модного магазина где-нибудь в Париже.

Есть разные отсчеты времени и расстояний. В пересыльной тюрьме есть один отсчет. Он прост, как первые математические представления древних греков. В камеру, которая готовится к этапу, приносят хлеб на дорогу, и по числу буханок нетрудно узнать, каков предстоящий путь. Я, конечно, не мог тогда пересчитать крошки хлеба на километры, но новые мои друзья сделали это быстро. "Ты, политик, в Европу не поедешь. Путь твой скорей до Свердловской пересылки. Ну, а там все одно. Сейчас и Магадан не так страшен, как раньше". Следовательно, двигаться предстояло на Восток, откуда, как говорят, восходит солнце. Кроме хлеба, выдали заранее тухлую селедку, и мы тронулись к воронку. Людям, изучающим топографию, должны быть непонятны ориентиры, которые называли мои соседи по боксикам, гадая направление дальнейшего следования. Игра эта захватывает весь этап в воронках, в вагонах "столыпина" идет бесконечный спор - куда же везут, ибо конвой обязан хранить молчание до места прибытия. Но я был с корифеями. Едва мы отъехали от стен Красной Пресни, как мне уже сказали, на какой вокзал нас доставят и какие потом пересылки, это все почти вслепую определялось. На отводных путях Казанского вокзала нас ждала кованая фраза, которую слышат в России с 17 года, по сей день: "Шаг вправо или влево считается за побег. Конвой стреляет без предупреждения". В размокшем сером снегу нас поставили на колени. Снова потрошили вещи. Медленно и с неохотной бранью принимал нас новый конвой - конвой вагонзак.

Окна в купе были заколочены напроцъ, в каждое купе загоняли по 20-30 человек, размещая вповалку на трехъярусных сплошных полках. И вдруг мне оказывают графские почести. Ведут с моим растерзанным мешком в отдельный тройничок (купе на троих), и я там один, совсем один. Даже видавшие виды "особо опасные" озадачены. "Политик! Так ты что, отдельным номером едешь, как Черчилль!" А мне как-то стыдно за эти привилегии. Я смотрю на конвой и подзываю одного, прошу отдать особо опасным все, что у меня осталось от тюремной передачи, а он мне - "не могу, по уставу не могу". Я начинаю рыться в остатках своего барахла, предлагаю ему свитеры и рубашки - все равно они мне не нужны, в лагерях запрещено. Конвойный все трясет головой, делает мне непонятные знаки и отбегает от моего зачумленного купе. А часа через два подходит и просит: "Давай стихи - свои и Высоцкого". Я читаю ему стихи, а он записывает, потом бежит с моей копченной корейкой к особо опасным. И уже блаженно засыпая, я слышу их приветствия: "Ну, политик, ну уважил, сто лет так не ели".

Поздно ночью состав ознобно дернулся, как человек поднимается после тяжелого сна в глухом похмелье и движется подневозльно. Я проснулся от лязга кормушки: любитель поэзии из охраны протягивал мне бутылку портвейна. Я выпил и ликовал - счастливым пошоском на дорожку начинался мой долгий путь.

Вагон надрывался, стонал и выл. Кружку воды давали утром, кружку воды - вечером, и раз в сутки выводили в туалет. Все требовали воды и туалета и дергали заспанный конвой, который, даже и старайся - не мог обеспечить всем человеческие права.

В других купе ехали бабы, и перекличка шла с утра до вечера. Что сексуальные романы и фильмы Запада! Что крик моды извращений! Здесь говорилось такое, что не снилось великим сексологам свободного мира...

В туалет водили под конвоем, и вот на этом пути передо мной остановилась моя Богиня. Она протянула свой тонкий пальчик через решетку, и белоснежные ее волосы коснулись меня. "Я слышала, что вы поэт". И впервые моя нелепая профессия показалась мне привилегией. "Я интересуюсь искусством. Напишите мне стихи, я вас прошу". А конвойный как-то жался к стене, не внимая крикам вагона: "Воды, начальник, воды, воды!" Потом вполприказа, вполуправдания конвойный попросил Богиню пройти. Она отвела взгляд от моего смущенного лица и обернулась к конвою: "Сука ментовская, гад, ты же знаешь, что у меня бессрочка, на месте зенки выколю, козел, педераст!" И вновь обернулась ко мне: "Извините за стиль, приходится". Я глупо улыбался, а Богиня, возвращаясь после оправки по коридору вагонзака, скромно склонила глаза передо мной. Вскоре покорный конвоир принес от нее рисунки, исполненные карандашом на клочках грязной бумаги. Рисунки эти изображали обнаженных женщин с той трогательной долей сексуальности, которая доступна людям только в тюрьме.

Мой дорожный роман захватил публику вагонзака куда сильнее, чем романы Марии Стюарт шотландцев. В пересуде слышалось тайное уважение к моей пассивности, и только один из особо опасных решился на открытый монолог. "Земляк! - кричал он под стук колес. - Политик! Слушай меня! Конечно, она - баба клевая, но не пишишь

ты на это дело, пропадешь. Я же растряс конвой, мне все сказали - десять мокрых дел! Эта тебе не пара!" "Ты что, с ума сошел! Она же еще ребенок", - кричал я в ответ. "Нашел детей на лагерном этапе! Смотри, таких красоток не много, но если она тебя окрутит, то за любой взгляд налево получишь нож в спину, как от конвоя пулю. Такие ничего не прощают. Она из Свердловска. Ты же знаешь, - Свердловск - та вольная пересылка, где разное мудачье, назаработав северных шальных денег, летуны, командировочные, начинают спускать их. С ними твоя любовь и работала, нет, не блядь, эта птичка полетом выше. У них была компания - она, ее подруга и трое пацанов. Они заходили в кабаки, и девицы заказывали коньяк с мороженым, а пацаны садились в стороне и брали портвейн, мол, алкоголики, из завербованных студентов. Ну ты же понимаешь, что тут происходило. Ты вот сам ебальник раскрыл, хоть баб небось видел, а эти фраера с Севера липли, как мухи, кидали червонцы, не знали, чем угодить. А девочки разыгрывали себе комсомолок, пили коньяк, закушивали мороженым и смотрели, у кого денег больше. А потом скромно соглашались пройтись по ночному Свердловску и полюбоваться на красоты строек коммунизма. Пацаны выходили через пять минут из кабака и догоняли их в условном месте. Работали ножами и следов, кроме трупов, не оставляли. Но разок твоя любовь просчиталась, что и принесло ей счастье с тобой познакомиться. Вшили из кабака с тремя летчиками, а у тех при себе оружие. И когда подошли мальчики, началась бойня. С финкой против пушки не попрешь. Двоих пацанов летчики замочили, а твоя принцесса ухитрилась уложить двоих летунов насмерть. Третьего убил один из парней. На выстрелы потянулись менты со всего города. Девицы убежали, но парень был раненый и далеко не ушел. То ли ему обещали помилровку, то ли в бреду наговорил лишнего, но девочек через пару дней взяли. Теперь, земляк, твою любовь везут в Свердловск, говорят, там нашли еще четыре трупа плюс к десяти, которые за ней числятся. Расстрелять ее не могут - малолетка, нет восемнадцати, а десятка обеспечена. Так что смотри, земляк, тебе решать, я б с такой не связывался - загонит в гроб и только улыбнется". Вагон напряженно молчал. В висках у меня стучало: "Не может быть, не может быть, неправда!" И вдруг отчетливо прозвучал ее голос: "Ну что, поэт, испугался или рассказ тебе не по вкусу? Желаю тебе встретить меня на воле, а стихи напиши, раз обещал". Я написал стихи...

Давно замечено, что дорожные романы - самые ослепительные.

На второй день дверь моего королевского купе открылась, и конвой ввел в мою обитель молодого парня. "К тебе, как в кабинет министра, только за крупную взятку пускают", - сказал он радостно. Может, опять наседка, пронеслось в голове, но тут же знакомый стыд, от которого всю жизнь не мог отделаться, принесший мне вровень и горя и радости, охватил меня: нельзя не доверять людям... Парень как-то ловко устраивался, раскидывая по углам свой скарб. Чувствовалось, что не в первый раз он катается в этом не-веселом поезде. "Удивлен, наверное, что соседа подбросили, - напрямую спросил он. - Да я не за место это барское шмотки свои отдал. Поговорить хочется, я ведь тоже из Москвы. Всюность там прокантовался. Знаешь, москвичей в зонах не любят, за фраеров

держат. У всех компании: по землячествам держатся, сибиряки к сибирякам, татары к татарам, и только москвичи - не пришей к пизде рукав. Наши столичные сами виноваты, то фарцовщиком окажется, то спекулянтом. Да и зависть к нам понятна. В Москве-то сытнее и с барахлом проще, а поди пропишись в столице". Все это я слышал не в первый раз еще на воле. Говорили мне со скрытой недоброжелательностью: "Ну как там у вас, что продают?" И охватывало меня чувство неловкости, как будто сам я был повинен в знаменитой паспортной системе, по которой имел право проживать в "столице мира", в отличие от других.

"Извини уж, что потревожил твое одиночество, - продолжал мой новый попутчик, - но вот услышал - политик этапом идет из Москвы, интересно мне. Я и раньше много читал, а за пять лет лагерей все, что достать можно было, чуть не наизусть выучил. А что в лагерной библиотеке достанешь, Ленина да Горького, такое и под страхом карцера читать не захочешь - с души воротит..."

И начались наши этапные бдения. Я читал ему подряд все стихи, рассказывал все, что знал и не знал, и горько жалел о том, что мало занимался самообразованием. Когда мой слушатель понял, что я совсем иссяк и охрип, он рассказал мне свою странную историю, в которую я сначала и не поверил: "Понимаешь, характер у меня дурной, не могу на одном месте жить, сколько я профессий перепробовал, даже летное училище окончил, в скольких геологических партиях побывал, не счесть. Забросило меня как-то в город Ногинск, в технике я разбираюсь, вот и пристроился неплохо. С бабами у меня проблем никогда не было, парень я ловкий, если уж какая из подруг моих начнет от ревности в истерике биться, я собираю шмотье, беру расчет на работе и смываю в другой город. Но подзалетел я из-за приятеля. Хороший парень, работяга, за инженеру канал, и выпить-погулять любил. Только жена у него была очень ревнивая и меня ненавидела за то, что мы с ним время вместе проводили - в атмосфере интеллектуального трепа и шарма мимолетных встреч. Вот закатился я как-то к Толику со своей знакомой, Машей ее зовут. А она хороша собой, смесь непонятных кровей, и в глазах татарская скрытность и страсть. Посидели, выпили. Жена Толика на работе. Он и завелся: "Поделись, - говорит, - друг". А мне-то что, не жалко, я взял недопитую бутылку и в соседнюю комнату. Ну, у них там и началось. Только жена его неожиданно-негаданно возвращается с работы в самый, так сказать, интересный момент, ну и начался скандал. Я Толику говорю: "Пойдем, пускай они меж собой разбираются" - и ушли в вечерний туман. Ну откуда я мог знать, что Маша моя и Толика жена" - подруги со школьной скамьи.

Утром Толик явился на работу, а его по парткомам и завкомам таскать начали - за разврат. Только мы с ним собрались в другие города и веси отчалить, как нас тепленьких взяли и поволокли куда следует. Оказалось, Толикова жена, побив изрядно Машу, пристала к ней с ножом к горлу; "Или пиши в милицию заявление об изнасиловании, или ославлю на весь город". Маша и согласилась. Решили поугаать нас с Анатолием.

На всякий случай, для большей убедительности, даже "сняли побои", то есть зарегистрировали у врача два Машиних синяка, ко-

торые поставила ей Толина супруга. Милиция сразу же передала "дело" в прокуратуру. Я поначалу никак не мог в толк взять, каким образом угодил за решетку. Но все разъяснилось: подружки наши, во избежание моего свидетельства в защиту Толика, изложили дело так, что и я оказался участником изнасилования. А Толика жена расписала, как она застала нас на месте преступления. Получилось групповое дело с отягчающими обстоятельствами - особый цинизм и побои. "Особый цинизм", по мнению следователя, заключался в том, что "преступление" было совершено под кровлей семейного очага. Следователь наш был из молодых комсомольских рвачей и с первых дней нас возненавидел. Особенно его бесило, что мы оба никак его власти над нами признавать не желали, а на все угрозы просто смеялись ему в лицо. То ли комплекс неполноценности сыграл свою роль, то ли уж очень хотелось ему показать перед начальством, какой он принципиальный, но субъект этот просто рвал и метал, и твердил, что мы получим по червонцу, если не раскаемся и не признаем правоту версии следствия.

Да тут еще возникли отягчающие обстоятельства. Как всегда, запросили завод, на котором мы занимались построением коммунизма, и получили характеристики далеко не восторженные, и вот почему. Оба мы считались великими рационализаторами, и все их планы, о которых они партии и правительству рапортовали, на нас только и держались. Так что когда мы собралась податься в другой город, чтобы скандал замять, и подали на расчет, начальство наше схватилось за головы и упрашивало остаться, сулило зарплату повысить, но мы были непреклонны. Теперь нам это отлилось. На запрос прокуратуры заводские власти расписали нас как лиц антиобщественных, припомнили все - и отказ от участия в партийно-комсомольской работе, и наши интеллектуальные беседы, и разные недостойные советского гражданина высказывания. Следователь потрясал этой бумагой, и хоть не из пугливых я, и продолжал посмеиваться, но уже понял, что песенка моя спета.

Подружки наши, наконец, поняли, что малость переборщили, и кинулись в милицию, чтобы забрать назад свои заявления, но там их и слушать не стали. В прокуратуре наш ретивый комсомолец разъяснил им, что с законом шутить нельзя, что наш советский закон - самый гуманный и справедливый, потому он заявления им не вернет. Написали наши красавицы в высшие инстанции, но оттуда, как и положено, их отчаянные отречения вернулись к нашему следователю. Тот вызвал отрекшихся праведниц и, показавши им кучу бумаг, заявил, что на них заведено дело за дачу ложных показаний, что получают они по три года, а нас, мол, все равно не выпустят, так как в ходе следствия вскрылись новые факты нашей преступной деятельности.

Так он их запугивал, даже выписал санкцию на содержание под стражей. Бабы наши этих хитростей не знали, благо университетов не кончали, и совсем отчаявшись, согласились забрать свои отречения, что и требовалось нашему служителю Фемиды. Но подружки еще надеялись на суд.

Друзья наши на воле забеспокоились, даже заводские власти одумались и написали в суд, что хотя мы являлись антиобщественными элементами, но работали добросовестно, и завод готов взять нас на поруки.

С подругами никто в городе не здоровался, ибо суть дела всем стала ясна, о нашей трагикомической истории говорил весь город. Так что когда мы оказались на скамье подсудимых, зал был полон сочувствующими. Ну и началась эта комедия. Свидетели, они же пострадавшие, подруги наши, вновь отказались от обвинения и стали рассказывать, как следователь их запугивал. Но суд прервал их на том основании, что к делу это, якобы, не относится. Судья только спросил у Маши: "Значит, вы отрицаете, что вас изнасиловали, и говорите это со всей ответственностью, понимая, какие могут быть последствия?" - "Да! Да! - крикнула Маша. - Пусть лучше меня сажают, я их оклеветала, просто боялась, что блядью ославят! Такого наговорила, что хоть вешайся!" Суд удалился на совещание. Ну и прозвучало всем нам так знакомое "Именем Российской Федерации". Суд признал нас виновными в групповом изнасиловании при отягчающих вину обстоятельствах и приговорил Толика к десяти, а меня - к семи годам усиленного режима".

Попутчик мой усмехнулся и вытащил из кармана телогрейки помятый листок - копию приговора: "Вот сколько стоит свободная любовь при социализме". Он протянул мне украшенную штампом бумажку. Приговор не оставлял сомнения в правдивости рассказа: "Именем Российской Федерации..."

Но строкам приговора предшествовал уникальный текст: "Суд не может принять во внимание заявление Марии Н. о том, что прежние ее показания об изнасиловании были ложью. Суд также не принимает во внимание аналогичное заявление жены подсудимого Анатолия К. Суд считает, что оба эти заявления на суде сделаны из чувства *ласной жалости* к подсудимым."

Суд выносит определение в отношении пострадавшей и жены подсудимого. Суд отмечает, что их поведение в зале суда противоречит их гражданскому долгу. Суд направляет это определение по месту работы пострадавшей и свидетельницы с тем, чтобы общественные организации обратили внимание на их недостойное поведение..."

"А вот и сама пострадавшая", - сказал он, протягивая мне пачку фотографий "роковой женщины". "Откуда это у тебя?" - изумился я. Попутчик мой тяжело вздохнул: "Не все в жизни, политик, кончается приговором. Когда суд объявил нашу судьбу, зал так взволновался, что пришлось нарядами милиции людей разгонять. Супруга Анатолия билась в истерике и все порывалась броситься перед скамьей подсудимых на колени. Анатолий только скривился: "Ну что, гадюка, добилась своего, вернула в лоно семьи!" - "Толик, брось шуметь, - оборвал я его, - ты хоть за удовольствие срок огреб, а я-то - за сочувствие твоей пламенной душе!" - "Прости, прости меня, старик, - чуть не в голос плакал Толик, - одними себя утешаю, что на три года больше получил". Маша стояла в дальнем углу зала и горько плакала. Конвой уже разводил нас по боксам, этапам, лагерям. Что с Толиком сейчас, я и не знаю. Пепелиска между зеками запрещена."

Настроение у меня поначалу было невеселое - мало того, что семерик ни за что ни про что схлопотал, так еще статья такая поганая, в лагерях все смеются: за лохматый сейф посадили, ничего себе взломщик, Джеймс Бонд. Сперва худо было, но потом мало-по-

малу завоевал уважение. Бит бывал сильно, но и насмешек сам тоже не спускал. Один раз не ответишь - потом затравят. И вот через три месяца, когда освоился я на лагерной зоне и малость оклемался, вдруг получаю я письмо от Марии, как она мой адрес узнала, ума не приложу. Видно, долго обивала пороги управления мест заключения. Письмо как письмо, я бы и отвечать не стал, но уж слишком много в нем тоски было. Писала Маша, что жена Толика из города уехала со стыда, а ей, Маше, деться некуда, да и бежать как-то стыдно, потому что презрение к ней считает заслуженным, и снова, эта фраза, как и на суде - "хоть вешайся". Меня особенно тронуло, что презрение заслуженным считает. Не ответишь - еще возьмешь грех на душу. Девка она во всем страстная, вдруг и вправду что-нибудь сотворит над собой. Маша писала еще, что приехать хочет, "хоть прощения по-человечески просить". Ну я ей и отписал, что зла на нее не держу, но свидание в лагерях разрешено лишь с законными женами, а если штампа нет в паспорте, то справка нужна, что жили вместе и имели "общее хозяйство", да и то дают свидание в исключительных случаях. На том я и пожелал ей светлой жизни и приятных встреч.

Я и думать забыл о своей прекрасной Марии, как вдруг вбегает в барак вертухай и кричит мне с порога: "К тебе жена приехала!" "Ты что, - говорю, - что я тебе, фраер, такие шутки со мной разыгрывать, какая у меня жена! Матрасовка на нарах - вот моя жена". "Да нет, - кричит надзиратель, - такая клева баба приехала, бумаги начальству показывает. Они там сейчас решают, свидание-то тебе не положено, но может исключение сделают. Все-таки не одну тысячу километров баба проехала, пока до нашей Сибири добралась". Начальство решало сложный вопрос, а вся зона уже знала новость. Блатные просто со смеху покатывались: "Ну, москвич, впервые такое видим, чтоб пострадавшая от изнасилования в зону как жена приезжала. Видать, крепкий ты мужик. Вот история, сперва засадила парня на семерик, а потом утешать явилась. Да ты, пацан, не смущайся, хрен с ней, все лучше, чем драть, и жратвы может какой привезла, что тебе стойку держать. Поговори с ней, может она Генеральному прокурору напишет на помиловку, глядишь - освободят, а там поговоришь с ней от души, за все считаешься".

Через час меня вызвали на вахту, и зона замерла в ожидании развязки драмы. Вопреки установленному порядку, начальство дало разрешение на личное свидание на двое суток, плечами пожимали - пострадавшая, а бумагу привезла, с печатью, что общее хозяйство вели. Меня тщательно обыскали и ввели в комнату для свиданий. Маша, не дожидаясь пока конвой закроет за мной дверь, стала как-то тупо и прерывисто шептать: "Прости меня, прости меня, прости..." Мне пришлось ее долго успокаивать. Я гладил ее по волосам, целовал... Двое суток пронеслись, как один час... Маша рассказала, что ездила в Москву, и в Верховном Совете ей объяснили, что помилование возможно только после половины срока. А жалобы Генеральному прокурору просто пересылают в Ногинскую прокуратуру, где их аккуратно складывают в ящик.

Она приезжала ко мне положенный раз в полгода, и начальство беспрекословно давало нам свидания.

Через три с половиной года Маша написала на помилование и сама отправилась за ответом в Президиум Верховного Совета. Но там ее как встретили, так и проводили: "Не надо заявлений писать, вы уже раз опровергали свои показания, нечего людям голову морочить, нам что, из-за вас Верховный Совет собирать?"

На очередное свидание Маша приехала вся в слезах, клялась и божилась, что не оставит это так. "К кому же ты пойдешь, - только усмехнулся я. - Не к кому идти". И прощаясь со мной, клялась и божилась, но сама, видно, надежду потеряла, что я скоро выйду на свободу, что жизнь ее наладится. Письма стали приходить все реже, и вот уж год прошел, как ни одного не написала. Бог с ней, я зла не держу.

Но на лагерное начальство измена "пострадавшей" почему-то произвела сильное впечатление, они так гордились своей гуманностью, предоставляя нам незаконные свидания, и теперь прямо-таки считали себя оскорбленными в лучших чувствах. Не надо тебе объяснять, что из карцера я, конечно, не вылезал, то водки доставим, то чифир варим, но начальство все же относилось ко мне сочувственно. Любовные романы всем щекочут нервы, даже палачам. И вот, несмотря на все мои нарушения, они написали бумагу с просьбой заменить мне остаток срока на "вольное поселение". Теперь на стройку коммунизма везут... Да ты, политик, не грусти, не волнуйся, не так уж там в лагерях и страшно, держись, как-нибудь прорвемся..."

Поезд подходил к Свердловску. В городе этом, на центральной пересылке Транссибирской магистрали, сходятся почти все этапы. На этой Свердловской пересылке я тяжело заболел - воспалением легких. Врача не допросишься. Глаза застилает тяжелая пелена. Если бы не мой попутчик, дела мои были бы совсем плохи. Он шел со мной через все шмоны, тащил кешер, подкупал конвой, и в страшных боксах и переходах мы были вместе. Наконец, после бань и прожарок мы попали в камеру, рассчитанную на 20 человек, а поместили в нее 120 зеков. Окно выбили, так как иначе можно было задохнуться. Но Свердловск не баловал погодой. В ту зиму температура колебалась от сорока до пятидесяти градусов. В углу окна образовался ледяной налет толщиной около метра. Я сбросил свой мешок на пол и с трудом мог устоять на ногах, присесть было негде. Путчик мой взглядом знатока окинул нары. О чем и с кем он говорил, я уже не слышал. Смутно помню, как чьи-то руки подняли меня, блатные на нарах расступились и дали мне место. Я очнулся только через сутки. Друг мой склонился надо мной: "Политик, мы уже второй день двери разносим, но врача не дозвались. Приходит корпусной, грозил расправой за "политический бунт". Я медленно приходил в себя. Моими соседями по нарам оказались блатные из Нижнего Тагила. За пахана у них шел крепыш примерно моего возраста. Вопреки блатным законам, его не называли по кличке, а обращались к нему по имени, "Вовчик", Володя. Он обратился ко мне: "Слышь, парень, ты что и вправду - политик, да еще поэт? Или нам землячок твой лапши на уши навешал? Пойми ты, - переходя на полутон добавил он, - своего блатного с нар согнали, чтоб тебя положить, сам понимаешь, подтверждения нужны. Здесь люди места на нарах по три месяца ждут". Я порылся в кармане телогрейки и вы-

тащил уже потрепанную копию приговора Московского суда. Вовчик зачитывал ее вслух. Воцарилась тишина. Далекая от центра мира - Москвы, Свердловская пересылка ничего понять в приговоре не могла. Вовчик тоже плохо понимал значение слов и суть дела, но с наслаждением произнес: "Вопреки политике КПСС... Виновным себя не признал..." Начался всеобщий гвалт, а я снова лишился сознания. Снова колотили в дверь, вызывая врача. И зачинщика беспорядков, попутчика моего, перевели в холодный карцер. Больше я его не видел...

Чад махорки и пар из разбитого окна вздымались по стенам камеры, как дым сожженной земли.

Через несколько дней мне стало лучше. Я читал новым знакомым стихи, и они жадно записывали в сшитые из туалетной бумаги книжки, ровно ничего не понимая. Днем они пели романсы, ночью рассказывали о себе, путаясь в собственной фантазии. Вовчик молчал и только иногда просил прочитать какое-нибудь из стихотворений, особенно понравившееся ему, но чтобы не терять достоинства Пахана, он ничего не записывал. "Вовчик, - спросил я как-то, - как же ты залетел?" "Да уж вторая ходка, - нехотя ответил он. - Понимаешь, все подмывало силу перед другими показать, да и дружки подбивали, так и попал за драку в колонию для малолеток на перевоспитание, к активу подрастающего поколения, с лозунгами. Бьют в лицо, если не с той ноги в сортир пошел, говно в рот запихивают, если слово против сказал. Ну да я не сдавался, все, кажется, мне отбили в теле, но на колени ни разу не поставили. Я парень сибирский, с меня как с гуся вода. Вышел из колонии и сразу решил на самую тяжелую работу - в горячей металлургической цех. Надо мной ребята потешались: "Ты хоть и крепок, но хуй сломишь, мы кровью харкаем за свои 350 рублей, куда уж тебе". А у меня мысль в голову запала. Пожить хотел так, чтобы вся эта ментовня, которые на воровстве и чекистских побрякушках живут, а пацанов за пять рублей стыренных на три года за можай загоняют и калечат, - я хотел, чтобы они руками разводили и слону пускали, глядя на меня. Много у меня идей возникло, пока сидел да по больничкам валялся после побоев подрастающей смены, которые из уголовников сразу в активисты лезли. Ребята у меня были надежные, концы я сразу нашел, слава обо мне была, что не сломали в малолетке, по всему городу. Верили мне и не боялись, знали, что не подведу. Но я-то под надзором был: даже если не воруюсь, десять раз на день спросят, на что пьешь. Вот я и пошел на каторжную эту работенку, а по вечерам делами своими занимался, что мне их социалистическая собственность, все равно партийная сучья разворовывает. Я простых людей не обижал. Но уж гулял я по банку как следует. Милиция каждую неделю: на что пьете, а я им справку - 350 советских получаю, хочу пью, хочу нет. Ребята с завода, конечно, знали, что никаких я не 350, а три тыщи в месяц пропиваю, и все за меня радели: зачем тебе это надо, завязывай, посадят тебя, такие деньги получаешь, жить да жить, бабой бы хорошей обзавелся. А я гнусь, как негр, пред этой проклятой плавкой, и в огне этом мерещится, как бьют меня в зоне, в ленинской комнате активисты, как топчут надзиратели. Нет, думаю, не задаром я спину гну, хоть год, хоть еще день, но погуляю выше ихне-

го. Знаешь, от чего я кайф ловил: сижу, как всегда, в лучшем кабаке со своею компашкой, а за соседним столиком партийная бесовня заезжего гостя потчует, да глаза на наш стол таращат, каких деликатесов им ни принесут, у нас вдвое. У них бабье - затруханые секретарши, а у нас - лучшие девки Нижнего Тагила, стюардессы, танцовщицы, заводские - все как на подбор. Жуки эти захмелевшие заказывают советские песни - из тех, что по телевидению крутят, а мы оркестру втрое больше денег кидаем. Лабухам, конечно, боязно - и хочется и колется, и кланяются они товарищам высокопоставленным, извините, мол, у нас по порядку, другие заказы раньше были. И отчаянно исполняют нашу:

И оставила стая среди бурь и метелей
С перебитым крылом одного журавля...

Власти из кожи лезли, подловить хотели, а ничего не докажешь. И тут угораздило меня влюбиться. Может, громко сказано, но привязался я к одной девчонке, всегда этого остерегался, а тут влип. Девчухе всего-то шестнадцать лет. Из школы ушла, на заводе работала. А мне уже за восемнадцать перевалило, под статью о возвращении малолетних подходил. Ее, конечно, начали таскать в разные инстанции, но она и разговаривать ни с кем не стала. К матери ее прицепились, но старуха тоже молчок, ничего, мол, не знаю не ведаю. А у нас такая любовь, что я даже гусей прекратил дрязнить - в кабаках стал вести себя, как Чемберлен на приемах. Но менты и партийцы обид не прощают. Выхожу я как-то со своей компанией из ресторана и чувствую - неладно что-то. Стоит один бес с красной повязкой, а рядом целая кодла комсомольцев-добровольцев. Парень этот с разгону подлетает к моей красотке и орет: шлюха, блядь, с подонками связалась, мы с тобой в штабе народной дружины разберемся, ты же комсомолка! Ребята мои так и оцепенели. А у меня в голове как будто шарик в биллиарде бегают и все в лузу не попадают. Я только крикнул своим - в расход, нельзя всем садиться, и ударил этого фраера, но тут, конечно, весь кодлак оперативников на меня навалился. А ребятки мои, нет доброго совета от пахана послушаться - тоже вступились. Вот они рядом на нарах и лежат. Мне семерик дали, а им по три, под срок подвел пацанов. Девушку мою жалко. Она и на суде была как немняемая, на конвой кинулась, еле из зала суда выволокли. Все кричала: я жду тебя, я жду. А что тут ждать. Семь лет - не год, замуж выходить надо. Свидания мне с ней не дадут, не расписаны мы. Хорошо еще оперативник выжил, твердолобый оказался, а то он долго в больнице лежал, и я уж было к расстрелу приготовился".

Камера наша, в которую, казалось бы, нельзя больше втиснуть ни одного человека, каждый день пополнялась десятью. Говорили, что из-за лютой зимы, где-то на дальнем севере, рельсы не то покрылись льдом, не то лопнули, что этапные вагоны остановились надолго. И действительно, большинство моих сокамерников торчало в Свердловске по 3-4 месяца. Я все пытался уступить свое место на нарах, хотя бы временно, но жар продолжался, и мои тагильские друзья удерживали меня силой. Они не менялись местами: тунеядцы, колхозники и бытовки не вызывали у них уважения. "Брось, поэт, - говорили они, - это тебе не политическая тюрьма, сделай

им добро, они на шею сядут и скажут другим, что тебя надули. Это закон лагерей. Куда ты на хуй от него денешься!.

Однажды в нашу камеру подбросили еще десятерых. По тону их разговора и по манерам было понятно, что не в первый раз их перебрасывают из зоны в зону долгими этапными путями. Они держались вместе. Прямо от двери начали ногами расшвыривать сидящих на полу "бытовиков" и "колхозников". "Воры есть?" - крикнул фиксатый верзила, бросив взгляд на верхние нары. Вовчик чуть приподнялся на локти и процедил сквозь зубы: "Воров здесь нет, здесь все отворовались, воры на воле". Пассаж этот показался фиксатому значительным, и бравая десятка принялась за нижние нары. Вскоре нужные места были освобождены, и наши новые соседи занялись самообеспечением. "Землячок, - кричал фиксатый скромному пареньку, забившемуся в угол, - на что тебе такая шапка, давай махнемся не глядя". - И при этом бил его по печенке довольно профессионально. Компания фиксатого обирала других. Вовчик повернулся ко мне и вдруг сказал, как бы извиняясь: "Я их ненавижу, это шакалье и бакланье, но как я могу на смерть вести своих ребят. Ты же знаешь лагерный закон - можно вступить только за своего, а они над колхозниками и бытовиками издеваются". Мародерство продолжалось. На следующую ночь, проснувшись после недолгого забытья, я услышал голос Вовчика: "Я этого видеть больше не могу. Знаю, нас четверо, а их десять, и едут они из зоны, а не из тюрьмы - значит шмоны не те были, у них бритвы есть, а может и ножи. Но больше не могу. Хватит им гулять. Заточиваем ложки, все равно всю жизнь по лагерям корячиться. Но я вас не уговариваю". Алюминиевые ложки заскрипели об железные нашивки нар. Утром бакланье, как всегда, принялось за работу. С какого-то мужичка сняли шарф и вручили ему взамен грязное полотенце. Один из тагильцев спустился вниз и заявил, что шарф его. "Как это твой, - взбеленился фиксатый, - он же мужик, ты с ним кентоваться не можешь". Тагильский процедил небрежно: "Шарф мой, дал поносить на время этому вахлаку, от ангины, а ты шакал и подлюк". - И быстро закрылся от первого удара. Вовчик и ребята тут же кинулись в бой. В ход пошли бритвы и заточенные ложки. Я соскочил с нар последним, и как раз в тот момент, когда в руках у фиксатого сверкнула финка. Каким-то чудом мне удалось вцепиться ему в плечо, остальное сделал Вовчик. Он свалил фиксатого с ног, и блатные стали отступать к дверям. Через минуту в камеру ворвались надзиратели. Вовчик успел отпихнуть меня в дальний угол камеры. Забрали в карцер по простому принципу - всех, кто был в крови, в том числе и Вовчика. Затем по одному таскали к начальству мужиков, но нового дела ни на кого не завели. И шакалов, и тагильских из карцеров не выпускали до конца пребывания на пересылке. По неписанным лагерным законам Вовчик и его ребята не могли объяснить причины драки, так как это считается доношением. Мужики же молчали, боясь расправы.

Через две недели прозвучало уже знакомое: "На выход с вещами", и снова застучали этапные колеса, уносившие меня в глубь Сибири. Еще одна пересыльная тюрьма, еще с десятков изнурительных шмонов, и воронок доставил меня к воротам вахты уголовного лагеря Тюмень-2.

Владислав ЛЁН

ПРОГУЛКИ

* * *

Л. Е.

И женщина закатится с вязаньем
В такую глушь! - ногами к потолку.
Десантница! Спасайся осязаньем.
Тоую. Не толкую. Не толку.

А в ступе масло постное прогоркло.
Стоит Великий пост или - постой -
Идет весна!

Возьми меня за горло,
А - сверх того - и плату за постой.

Перчаткой затяни рукопожатье.
Ключица хрустнет рифмой ключевой.
Ты чувствуешь, упрямо копошатся,
Божатся локтевая с лучевой.

Мы одиноки в нас!

Владей снарядом
Руки до плеч, руки от пальцев вспять
Нет ничего естественнее - рядом
Спать на соломе, в комсомоле спать.

...И ножницы с еженедельной точкой,
И снова пряжа - смысла не сыскать!
Я знаю жизнь с фиксированной точкой
Начала жизни - пуговкой соска.

Случайно прочее, непрочно.

Гнутья
Под игом слов? Свое ли проще гнутья?!
И в старости губами пристегнуться
В последний раз и Богу присягнуть.

МАЛЫЙ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ ГИМН

Столько Бога, присного и вкупе
С пустотой по елочкам гуляет!
Мимоходом в муравьиной куче
Треугольный остов оголяет.

Идолопоклонства не выносит,
И в уме достраивает башню
Спасскую, к примеру, и выносит
За ворота вырубку и пашню.

Перепутав следствие с причиной,
Обозначит греческою буквой
Дельту речки, истинной и чинной,
И уйдет под парусом и бухтой.
И поскольку разум - не причуда,
Вещество, как и вода, что бойко
Молчалива, то ПОЗНАНЬЕ - чудо,
Даже полагая в помощь Бога.

СОЛОВКИ

1.

Гнейса тычки и почета
Потусторонней опоки.
Белое море печется
Только о Господе Боге.

Толкам перечить могли бы
Верным, а вкупе неверным
И допотопные глыбы,
И голубые каверны.

Белое море не моет
Кости, но истари камни -
Последниковье немое:
Зандры и озы, и камы.

Пусть умькают торный
Купы дерев и вербы,
И монастырь, который
Тонет, но камнем веры.

2.

Немотствуя, в кои-то веки
Уста деревянно раскрыть.
Стволы - дальновидные вежи,
И вся тут напасть и корысть.

Сбивая грибы до сугроба,
Горох избывая обид,

Но в рубашке настолько прозрачной,
Что докопаться до сути -
Уже пустяковое дело,
Только к чему себя тешить
Надеждою зряшной.

Лучше копаться в земле
И, на круглую плясь,
Дабы напасти бежать
Ноги могли бы,
Глубже замкнуться в себе,
Пальцем о палец
Не ударяя,
Достукаться до могилы.

* * *

Бывает, особенно летом,
На жатве или косьбе,
Улягутся мысли валетом
И равно довлеют себе.

И пересеченная местность,
Какая - лоскутность сама,
Не обременяет совместность
Усилий души и ума.

Покой, представляясь конечным,
Доступен, и речка Оскол
Бездонна, и облако - нечто,
И душ - на двенадцать сосков.

ВЕСНА

Еще стежок, и тронут головли
По водам лед, по льду никто не ходит.
Лицо до половины головы
Являет тайну по своей охоте.

Но голова, похожая на шар,
Причем беспечный, в пику полушарью,
Послушна шее, на который шарф,
Не заменимый оренбургской шалью.

И посему секущие насквозь
Затылок

думы,

выдумки и паче

Творят печаль, глубокую, как гвоздь
Креста на той горе, что выше пашен.

* * *

Православию заказного леса
Потакает осень втихомолку,
И деревьям в одиночку лестно
Думать, что душа не умерла.

Поутру, приветив богомолку
Из последних, родине пристало
Вспомнить про великую размолвку
с Богом - после гибели орла...

автобиография владислава лена, написанная в один присест

Я родился в рубашке, русским до седьмого колена, когда Владимир еще был столицей Руси, а гуси паслись табуном. Стоял, следовательно, XII век, шел 1937 год. Топорный и угловатый.

Мистическое число дня моего рождения - 13 декабря - сделало сверстников материалистами. В первый раз я вспомнил об этом и - одновременно - себя, когда в отчаянии грыз зубами песок, не прорвав противную мне цепь их пятилетних рук в знаменитой игре КЛУМ-БАМБА:

- Клумбамба!
- Что, слуга?
- Починяем рукава.
- На чьи бока?
- На пятом-десятом, на Лёне пузатом.

Считалка была такой:

Экаты бэкаты чукаты мэ
Абуль фабуль дэ мэне
Экс пэкс пуля пук
Мауль

или сякой:

Эн ден ду,
Поп на льду,
Баба Неля на панели,
Эн ден ду.

Не комментирую.

Крещен был с испуга, матерью (шла война), у которой было два глаза: один, правый - голубой, другой - карий. Церковь стояла на левом высоком берегу Вятки, хотя крестными моими были стохастические циркачи из шапито, разбитого (в пух и прах) рядом, на рынке.

За рынком был закат, на закате еще церкви, но без крестов. А выше - Небесный Град.

В начальной школе пил козье молоко. Как при татарах, когда Русь спасло православье. Ходил босиком, ходил по ягоды - находил грибы. В одиннадцать лет носил (чуть не сказал - усы) ушанку, носился с любовью, как с торбой писаной. Пассии было 8 1/2. Как в кино.

Московский университет - избушка на скурвившихся ножках. Ко мне повернулся передом. Толкнулся туда "мальчиком с тетрадкой стихов" - на филологический факультет, занимался фигурным катанием - на химическом, геофизикой - на геологическом, математикой, уже после (чего?) - на мехмате. Думал, что любопытства ради. Оказалось - свободы. Это из моих дневников Бердяев, не в меру серьезно, сверх меры сухо, переписал: "Борьба за свободу, которую я вел всю жизнь, была самым положительным и ценным в моей жизни... Все столкновения с людьми и направлениями происходили у меня из-за свободы. Борьбу за свободу я понимал прежде всего не как борьбу общественную, а как борьбу личности против власти общества".

Потому, перед самой защитой университетского диплома, когда уже стоял снег, но стоял Великий пост, я был неуклюже исключен из фантастически постного комсомола с эпитафией: "За барство, эгоизм, аморальное поведение" (не соображу, следует ли емкую лаконичность премудрой формулы украсить восклицательным знаком вниз головой или поставить фигу точки?). Так было покончено - подчеркиваю, не по моей вине! - с розовощекой конформностью. Последним ее проблеском была моя утопическая попытка напечатать стихи в толстом журнале тощего соцреализма.

0, расстрелянные в год моего рождения боги Олимпа! 0, распятый за двадцать лет до меня Христос!

...

Потом было поле. Полевые работы и камеральные. Алданский щит - но беззащитность, эпигерцинская платформа, но Тянь-шань и просто альпийская геосинклиналь Кавказа. Бог и, вкуче, природа вручили мне ключи от пасторальных приключений, которые были ключом (простите мне невольный каламбур). Кастальским!

Потом я сидел (не в тюрьме), писал не стихи - диссертацию. Трактат о знаменитой среднеазиатской молассе кайнозоя. Теперь написал вторую (Бог троицу любит): "Теоретические начала современной геодинамики". Наука у меня на родине, помимо великих имманентных целей, имеет величайшую прикладную, суть которой можно определить следующим образом: химически непротиворечиво *стасты* физическую жизнь *художника* с (математической) точностью до единицы. Понятно, что выше и только что сказанное относится всегда лишь к естественным и сверхъестественным наукам и никогда - к противоестественным - рабски в СССР гуманитарным.

Великая родина льна! Она ласково льнула ко мне (напомню, что родился - в рубашке), она сделала меня самым свободным художником мира, художником, который не зависит от редактора издательства и д-ра цензуры, подвала типографии и вала бумаги, типа шрифта с его кеглем и читательницы с ее кеглями, от иллюстраций, иллюзий и коллизий рынка, от книгопродавца и, следова-

тельно, денег - как за рукопись, так и вдохновенье! - Денег больших, бешеных, длинных, как рубль, серебряных, медных и, наконец, мелких, как бес и бисер.

Но - самое существенное: рост 175, вес лега 70, размер босых ног - 41. Повторяю, босых ног. - Но голыми руками не возьмешь! (Замечание относится не только и не столько к девственницам...)

Философское кредо: дуалист (но дуэлянт), диалектик, персоналист, пессимист, но верю в эсхатологическую свободу. История еще не закончена. Построение цельной, чисто понятийной, громоздкой философской системы и даже самое возможность такого построения ныне - отрицаю как очень старомодную идею.

Красота тоже не спасет мир, но безнадежность попытки прекрасна.

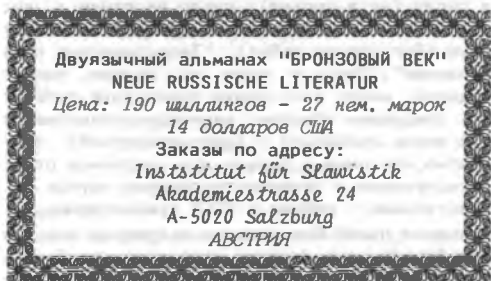
Исповедуемая мною религия - религия свободы (вот здесь я позволил себе, наконец, поставить восклицательный знак на попу)!

Поскольку всякая сколько-нибудь махровая биография должна заканчиваться датой смерти - пишу 2017, хотя сомневаюсь, что века достаточно будет для - вошедшего в плоть и в кровь русского тела - страдания.

января 1 дня.

лета по Р. Х. 1972

Владислав Лён - известный московский поэт и ревнитель новой русской литературы. Живет в Москве. Только что его стараниями вышел - в Австрии - первый выпуск альманаха "Бронзовый Век", получивший в немецком крещении название NRL. В альманахе широкий и интересный список участников - от Лена и Ерофеева (Венедикта) до Войновича и Харджиева. "Эхо" приветствует новое издание и желает ему еще немало количества выпусков.



Надежда СДЕЛЬНИКОВА
ЗАПЯТУХА СЛОНЦЕ

СНАЗНА

И снова жжет московская истома,
Звенит вдали смертельный бубенец.
Кто заблудился в двух шагах от дома,
Где снег по пояс и всему конец?

Анна АХМАТОВА

*Начальной иллюстрацией для слова послужила
картина М. Васнецова "Витязь на распутье".*

От автора

Поле. И снится ему сон... что он - "Добрыня-Никитич", стоит на стременах и копьём своим поковыривает землю. А у камня Того сидит Наташа Бородина и синим светом и каким-то буравчиком выжигает бородавки у лягушек; и Те, которые Прожженные, Зелененькие и Пучеглазенькие - уходят рядами в бесконечность. Так продолжалось минуты три. Потом она подняла взгляд, выключила синий свет и сказала:

- Явился - не запылится, а читать и по сей день не умеешь.

На камне Том лежала книга "Правописание взгляда на три стороны". Она начиналась словами: "И когда ты замолчишь, врытый в землю, как столб на три четверти. Посмотри!"

Читать он, правда, не умел да и не за этим приехал сюда.

- Ты сама-то из сельских али из медсестер? Куда тут дорога? Заблудился я. Да и прилечь бы не мешало.

- Что на камне Том, то потом, - сказала она и исчезла с лягушками и синим светом. Так продолжалось минуты три.

- Явится! - подумал он. - Книгу-то оставила... ягода. Небось за харчем пошла в деревню. Да и что правда в книге той, - думал

он, - ...не святая, поди, да и баба дура.- И не двинулся с места.

Камень цвел мхом от розового до фиолетового.

Красота-то какая разлитая. Знай, в ночи только так и цветет.

Конь рухнул от амуниций и сна. Добрыня-Никитич стал ждать Наташу Бородину, книгу так и не раскрыв.

Распотевшись во мху, он смотрел в небо, пальцем чертил всякие кривые, соединяя звезды, и думал - ...а догадается ли она принести ему "Перцовки" и сколько минут тут до села. Прошло еще минуты три.

- Господи, прости меня и помяни царя Давида и всю кротость его и мою. - И улыбнувшись заснул.

Проснувшись, он увидел, что валяется в траве на трамвайном круге в Сокольниках. "Боже! - сказал он, - но ведь тут давно трамвайную линию сняли, да и травы тут не было". Он почесался и хотел посмотреть "время", что обычно висело на столбе; но уткнувшись глазами в пальцы ног, обнаружил на ногах лапти и обмотки. "Вот дела, - сказал он, - и сапоги украли; давеча что нашел в Сокольническом парке, были совсем новые. Красота нате вам! Надо заявить в завком... Лапти, эх лапти, эх лапти мои. Вы не долго ходите, тятка новые сплететь!" - запел он, пританцовывая. И тут он увидел, что на него движутся два китайца. "Что?! Я всё проспал! Где та барышня с талмудом?!" - А китайцы двигались, и когда подошли, один из них спросил по-китайски, где тут Преображенская площадь. Он ахнул. Он понимал по-китайски: "Бабахолка-то? - в свою очередь спросил Добрыня-Никитич. - Так ее давно разогнали". "Или что там? - Китайцы переглянулись. - Сны Сталина и Мао по документам и архивам". "Опять сны, - подумал Добрыня-Никитич и потер глаза. - Нет, я документов не люблю, да и в завком надо заявить, что сапоги украли". Он посмотрел на лапти, потом на китайцев. Китайцы были в пионерских галстуках. Добрыня-Никитич улынулся, китайцы улынулись тоже.

- Это наверное в "Иллюзионе", - продолжал Добрыня-Никитич, - но там никогда пива нет, даже в воскресенье. Да и какой сейчас час и день? Не скажите ли?

- Время резать скотину, - сказал один китаец.

- Час нулевого меридиана, - сказал другой.

Добрыня-Никитич вспотел, и его затошнило. Он повернулся во круг себя три раза, перекрестился, и китайцы исчезли.

- Явно ряженые или шпионы, - подумал он. - Господи! Пронеси ото всех, и от китайцев в первую очередь, у них там все наоборот. - И он двинулся к метро.

"Спозаранку и без пятака пустят, - размышлял он, - а там эти машинки обойти можно, и барышни утром бывают улыбочаты, я им лапти покажу". Метро оказалось закрытым. "Явно ряженые, - подумал он про китайцев. - Время, наверное, и шести нет. Но куда идти?.. Не идти же опять к этому дураку Бетховену играть в домино. Он всегда подбрасывает мне дупель шесть или мыло. Это уже стало надоедать. А козел все-таки он... Завком хотел уйти в отпуск. Купить...

ся в этой грязной луже на Лосиновом острове тоже невозможно. Куда идти?.."

И пошел к Бетховену. Людвиг жил на Домниковке, в доме, который всегда был сотрясаем от свиста и грохота электричек. Густой туман от паровозов стоял перед его окнами. Добрыня-Никитич хотел есть. Без стука с порога он начал:

- Ты, лохматый пес, разбиваешь роэль пальцами и кулаками, а понять не можешь, который сейчас час и что китайцы в городе!

- Ты думаешь, они не поймут мою "Объединяйтесь, миллионы"? - сказал спокойно Людвиг, затягивая мокрым полотенцем свою голячую голову.

- Китайцы в городе! - повторил Добрыня-Никитич уже тихо. - И я хочу есть, - простонал он.

Людвиг действительно недослышал.

- У меня мыла в доме нет и люпинус вырос под окном, - ответил он.

- Все кончено, - сказал Добрыня-Никитич. - Где будильник?

- Будильник в шкафу в ящике. Он меня раздражает. Ну я не могу.

- Идем лучше в "Кармен". - "Кармен"-бар - был за углом.

Там, где пиво оборками платья смешит.

Там, где женщин не будет из-за странных понятий и толков.

Там, где соль по краю всегда присыпают дрожащие пальцы.

И глаза, закрываясь, слезятся от вони и дыма. Знай!

Что только тебя вспоминал я тогда и ждал - Ничего.

Кроме случая думать, что, там - в зоопарке,

Возле клетки со львом или тигром,

Ты будешь одна иль с ребенком.

А впрочем, мне все равно.

- Ты можешь это пропеть? - спросил в баре Людвиг человек с куриным лицом и очень быстрый в движениях. Людвиг взял очки.

- Если вам все равно, купайтесь в ледяной воде, а не посыпайте пивные кружки солью.

- А ты видел обезьянье дерево? - спросил человек с куриным лицом снова.

Людвиг закипел. Он знал этого человека. Это был Анархист-Канапе-Черный хлеб-Куриная голова. Удил рыбку в петербургских фонтанах.

- Хочешь лапти? - вмешался Добрыня-Никитич. - Хочешь, и обмотки отдам. Только ты не убивай его, Людвиг. Он не виноват, что он чужой. Ну чужой, и все. Он так одинок, как Демон. Не убивай его, Людвиг.

- Пропел петух за двух, пропел петух за трех.

- Но никто не принес порох, - сказал Куриная голова и, бросив в воздух коробок зажженных спичек, вышел из бара. Коробок не взорвался. У Людвиг вспыхнули глаза.

- Идем купим мыло, - сказал он Добрыне-Никитичу. - Надо наконец вымыть голову, и я дам тебе ботинки.

- И хлеба с килькой, - пробормотал Добрыня-Никитич.
- И хлеба с сыром, - поправил Людвиг.

У выхода, в дверях, мужчина сдувал пену с кружек прямо на улицу.

- Правда всегда права, но давать петуха может и маэстро.

И он расхохотался так, что мальчик, который стоял возле двери, рассыпал конфеты и начал плакать. Людвиг пошел прочь. Добрыня-Никитич кинулся собирать конфеты у ребенка и взглядом ловил фигуру удаляющегося Бетховена. Мальчик кончил плакать и сказал: "Хочу лапти и собаку, которая убежала". "Какую собаку?" - спросил Добрыня-Никитич и понял, что потерял Бетховена из виду. Он сделал гримасу ребенку и пошел допивать пиво, оставленное Людвигом. Пива на столах не было. "День рухнул, - подумал он, - надо идти снова к Бетховену или домой". Но дома не было.

Дом был в Муроме, а в Москве была койка в деревне Троицкая, это что между Киевским вокзалом и Мосфильмом. Там поэт Гаги, чуваш, купив деревянный дом на слом, за 300 рублей сдавал ему, Добрыне-Никитичу, койку. Койка была, и лавка была, и даже корова была за перегородкой, но почему он вспомнил это сейчас, когда он ночует уже три месяца в Планетарии на площади Восстания, там в каморке дежурного и телефониста, по фамилии Виломер.

Надо идти туда, надо узнать, что творится в городе и какое сегодня число и день недели. Он двинулся к метро.

Метро было закрыто. Он зашел за дерево, обнял его и заплакал. "Ты чего тут делаешь? - спросил голос дворника. - До дому не дойдешь - устал или выпил?"

Он готов был умереть, но открыв глаза, увидел Василису-Прекрасную - десятиклассницу, не поступившую в институт. Ресницы были, как крона деревьев. Он боялся, что она опустит глаза и земля рухнет; но она взяла его за локотки и посадила на скамью, которой раньше не было; перед ним забил фонтан, которого раньше тоже не было. Теперь он боялся поднять глаза, чтобы все это не исчезло. Кушанье появилось на подносе, из хлеба с медом, редиса и огурца. Он икнул.

- Хочешь изюму? - спросила Василиса-Прекрасная, - сейчас все пьют чай с изюмом.

- Завтра вторник или среда? - спросил он, не поднимая глаз.

- Завтра будет завтра, а сейчас я познакомлю тебя с моим отцом.

Кащей-Бессмертный сразу узнал Добрыню-Никитича.

- Ты любишь мою дочь, я знаю, но ты забыл, что фонтаны из шампанского ("из шампанского!" воскликнул Добрыня-Никитич) текут не из водопровода. А поэтому ты должен, должен, должен.

Добрыня-Никитич увидел вдруг себя катящимся в колесе для космонавтов и подумал, что никто никогда его не сможет остановить. Ааааа... был ответ человека, бросающегося в пропасть.

- Хватит быть мистическим мальчиком из русских сказок. Ты на службе наземных, подземных и ядерно-земельных сил.

- Маамаааа! - закричал Добрыня-Никитич, - я хочу проснуться.

Он сотворил крестное знамя, Кашей скривился, но не исчез. - Ты просто дурак. Пора понять, что ты ушел так далеко. Ты знаешь, где ты сейчас?

- Где? - спросил Добрыня-Никитич.

- На Канарильских островах. "Опытная станция по восстановлению иллюзий у мертвецов, думающих, что они герои". Например.

Добрыня-Никитич начал себя кусать. Ничего не получалось, он чувствовал боль, но Кашей не исчезал. Когда же я проснусь?

- ...И, - продолжал Кашей, - я устрою тебя на работу. Ты будешь петь в моем хоре для атмосферного эха. Подхватывая вторые голоса, ты будешь их глушить, создавая обций фон Забывания гвоздей. Главное, все незаметно свести к притуплению и сделать все так ловко, чтобы не хватало воздуха у первых голосов. Слышишь - думать не надо. Тексты возьмем у Мао-Стая, оркестр у общесоюзного цирка. Я приключу еще радиолокально хор летучих мышей и жующую саранчу. Будет грандиозно!

- Мандат на получение: билета в метро, газированной воды, набора "Ассорти" и комнаты в 9 метров при зоопарке - получишь сейчас. Согласен!?

- Ну нет, - сказал Добрыня-Никитич. - Дудки! Я уйду. Это ваша сказочка, и я в ней не играю. До свиданья!

Он взял у Василисы зеркало и хотел посмотреть в него, и Там... в отражении он увидел отца своего на колокольне, привязывающего старый тяжелый колокол какими-то бечевками от лаптей. Лицо было страшное от напряжения. Колокол был в навозе.

- Отец! - заорал Добрыня. - Куды ты там без меня! - Пагодь! Я сейчас! Я иду!

Он швырнул зеркало в Василису и проснулся. Он лежал все в том же поле на снегу без лаптей, и воробьи под рукой в проталине искали зерно.

1978

Надежда Сдельникова - художник-реставратор из Москвы, теперь живет в Швеции.

Андрей МОНАСТЫРСКИЙ

ИЗ ДВУХ КНИГ

(1972-1974)

* * *

Мертвые не навалены кучей
а в ручьях разговоры ведут
их осталось немного
но не застыть сверкающих глаз
башмаки перепачкав
а прыгнуть
все быстрее летя
над болтливой без умолку пашней

* * *

что совершилось в ночи
эхо не знает, молчи:
будем ходить по земле
кто на флейте играя
а кто собирая на хлеб
по ночам совершая набеги
на бедную землю

* * *

Все мы ловили
набитых песком насекомых
все мы, как спелые груши,
лопнули вдоль по дороге,
всем нам в раскрашенных домиках
шили мешки вместо фраков,
всем нам зубы ломило
от поздних мороженных яблок,
все мы уплыли куда-то
по мимо шмыгнувшей реке.

* * *

В них,
оставленных бороздах,
начнется праздная жизнь
землеройства,
ибо только слепые снедаемы
в серых горах.
Здесь пора беспечальная,
так одинаковы норы,
что одиночеству
незачем нас различать.

* * *

Там, где теряются воспоминания,
я хотел бы построить себе дом
и посмотреть, насколько глубока вселенная,
есть ли еще места, откуда ничего не видно.
Но там, где теряются воспоминания,
можно различить снежные горы
с большими деревьями
и протоптанными дорогами,
можно различить заборы и мосты,
плавающие по широкой реке,
особенно мосты,
переполненные одичавшим народом,
этими мастерами безбрежной жизни,
растерянными по широкой реке.

(ИЗ ПУНКТИРНОЙ КОМПОЗИЦИИ)

2. И над землю
нет земли,
и в подземелье
нет земли,
и лягу в землю
нет земли;

6. Все так .
до свиданья.
навсегда.
нам сюда.
нам туда;

7. мало
стало
вдали:
ничего.
ни меня,
ни его;

10. Где-то здесь,
или нет,
кто-то есть,
или нет,
кто-то ездит
во сне,
или я,
или все;

28. Улица
длинная,
как ухо
ослиное.
шел
и слушал,
все дальше,
все глуше;

30. Сова
да кобылы,
коровы
да могилы,
да мокрые
палки,
да кривые
галки;

47. Все во мне:
и дорога
в тишине,
и орел
далекий,
и столб
кособокий;

48. А мы живы
глубоко,
а мы сшиты
широко,
только все
потеряно,
а говорить
не велено;

54. По земле
колеса,
по зиме
сани,
с конями
на износе,
безвестными
лесами;

69. Это не рыба -
с хвостом
квадратным,
с адресом
обратным;
76. Сейчас посыпятся
куски жизни,
за ними - песок,
за песком -
Океан;
77. Снег на мне.
Бог с тобой.
Нет меня.

Андрей Монастырский (1949 года рождения) – живет в Москве. Поэт, филолог и концептуальный художник. Подобно Г. Худякову, Э. Лимонову, Генриху Сапгиру, Всею Дризу или Л. Губанову – обладатель дара художественного чтения своих произведений.

Виктор Тупицын

ЧЕЛОВЕК ПРЕКРАСНЫЙ, ПРЕКРАСНЫЙ ЧТОБЫ ПЕТЬ

1. Один прекрасный человек
прекрасный чтобы петь
Засунул в рот весь свой кулак
и пробует свистеть
2. Второй прекрасный человек
прекрасный как кино
В меланхолическом тепле
глотаёт домино
3. Его приятель - человек
прекрасный чтобы жить
На шею тросик наложил
и хочет прыгнуть вниз
4. Их друг - прекрасный человек
прекрасный чтоб стоять
Всю жизнь на корточках провел
запор его согнул
5. Другой прекрасный человек
прекрасный как другой
Рисует небо под землей
стоит на голове
6. Шестой прекрасный человек
прекрасный как Шестов
Читает книгу по траве
катаясь на вело
7. Седьмой прекрасный человек
прекрасный как дурман

Поехал зайчиков ловить
хотя нигде их нет

8. Восьмой прекрасный человек
прекрасный как пальто
Качает маятник часов,
боится опоздать
9. Его прекрасный человек
прекрасный как слуга
Целует девушек впотьмах
вставным зубом скрипя
10. Еще прекрасный человек
прекрасный как десятый
Он руки крестит на груди
он бонапарт не гвоздь
11. Другой прекрасный человек
прекрасный как ковер
Он рот открыл и ловит пчел
он пчелок любит есть
12. Еще прекрасный человек
прекрасный как христос
Он руки в стороны развел
он гимнастер небось
13. Иной прекрасный человек
прекрасный как Жена
В руках цветы всегда несет
он запах любит их
14. Потом прекрасный человек
прекрасный как смычок
На крыше танцем веселит
народ ему хлопок
15. Его прекрасный человек
прекрасный как вагон
Разводит рыбок на столе
он в брызгах мокрый он
16. Затем прекрасный человек
прекрасный как словарь
Нашел калошу во дворе
и в брюки запихал
17. И тут прекрасный человек
прекрасный как писатель
Он перед зеркалом лежит
и ножница в руке

18. Здесь есть прекрасный человек
 прекрасный чтоб любить
 Он женщин избегает
 купил он телевизор
19. Другой прекрасный человек
 прекрасный как чахотка
 Ему осталось мало лет
 он ходит на работу
20. Еще прекрасный человек
 прекрасный как красивый
 Он в цирке выступает
 идут его смотреть
21. Еще прекрасный человек
 прекрасный чтоб ученый
 Он клеит провода к руке
 щекотно той руке
22. Бывал прекрасный человек
 прекрасный как стекло
 Блестящие озера
 глаза его жены
23. И вот прекрасный человек
 прекрасный как тирьма
 Вслух он сказал что он такой
 какой-то не такой он
24. Прекрасный человек
 прекрасный чтоб в салат
 Пугает маленьких детей
 прыщав его халат
25. Еще прекрасный человек
 прекрасный чересчур
 Залез он в фортепьяно
 боится он мышей

ИЕРОГЛИФЫ

Иероглиф "волнение"

ветка вечерней рябины, скользящая
 по оконному стеклу красными пуговицами

Иероглиф "отчаянье"

удары чайной ложки о стенки фарфоровой
 чашки и истончающие ее

Иероглиф "воздух"

татуированная рука могильщика, вогнавшая
последний гвоздь в крышку гроба

Иероглиф "нежность"

когда некое природное колебание
обманывает звуком флейты

Иероглиф "сон"

паук ползет по красной черепице,
ползет по красной черепице,
ползет по красной черепице
со ступеньки на ступеньку

Иероглиф "движение"

помните детскую шутку: вы разворачиваете
бумагу и на вас кидается пуговичка,
раскручиваясь на резинке

Иероглиф "дыхание"

когда на коленях вяжет мурлыканье кот,
вы распечатали письмо; оно покрыто знака-
ми далекой встречи, тревоги, грусти,
медлительности

Иероглиф "запах"

прогулки возле деревьев, домов, воды,
огня, женщины.
наклониться к запаху - утратить его
пройти около запаха - награда обоим

Иероглиф "сумрак"

когда птицы начинают застревать в воздухе
и оседают на деревьях разноцветнотусклой
гирляндой.

лишь крыльями ласточек очерчен
сумрак.

Иероглиф "холодно"

кутаться мешают воспоминания

Иероглиф "скука"

занятиям вредит лень, возможностям -
дальняя дорога, досугу - казенный дом,
бубновому королю - трефовая дама

Иероглиф "тоска"

когда под утро возвращаешься домой и замечаешь, не все окна темны. два-три светятся

Иероглиф "свобода"

в пруду квакают лягушки, земля пахнет травой, трава - лекарствами, лекарства - выздоровлением, смертью

Иероглиф "стыд"

когда не совпадает то, что думают о тебе, с тем, что думаешь о себе

Иероглиф "совесть"

беседы двух людей о поступке третьего

Иероглиф "страх"

когда разорванные бумажки на скатерти начинают скручиваться от времени. кто-то забыл их

Иероглиф "ненависть"

когда оцепенение

Иероглиф "оцепенение"

когда ненависть

Иероглиф "ласка"

когда взгляд дотрагивается кончиком языка

Иероглиф "безумие"

уже сделана в черепе дырочка, уже налили клей и все, что было перегорожено, переклеилось между собой. все на свете

Иероглиф "событие"

вы видели, как пчела входит в чашечку цветка? так и человек: к нему стремится событие, пока он растет

Иероглиф "Иоган-Себастьян Бах"

не каждому беседовать с Богом на равных,
а с людьми - по пустякам.

Иероглиф "изнанка"

Сергей Петрунис родился в 1944 году. Жил в Москве. В 1978 эмигрировал и теперь живет в США.

В прошлом номере мы приветствовали появление нового свободного журнала, который вышел в ленинградском самиздате: "Женщина и Россия". Здесь мы печатаем один из его материалов и письмо редактора.

•РУССКАЯ МЫСЛЬ•

ЧЕТВЕРГ 10 ЯНВАРЯ 1980

**В Прокуратуру г. Ленинграда
да Прокурору т. Соловьеву
от Мамоновой Т. А., проживающей по адресу: 191126,
Ленинград, ул. Правды 22
кв. 54**

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Мамонова Татьяна Арсеньевна, довожу до Вашего сведения, что многократные звонки из КГБ и другие действия органов создали нездоровую атмосферу в коммунальной квартире, где я живу с мужем и четырехлетним ребенком, а также лишили меня возможности естественно (в соответствии с законами) проявлять себя. Первая «беседа» в Куйбышевском КГБ (без объяснения по телефону причины вызова) содержала в себе угрозы со стороны сотрудника КГБ т. Ефимова действовать в отношении меня «с позиции силы», хотя никакой официальной повестки, где бы значилось в качестве кого я вызываюсь, я не получала и протокол допроса не велся. Прибегали ли к звукозаписи, я не знаю, т. к. не была об этом уведомлена (статьи № № 129, 141 Уголовно-процессуального Кодекса РСФСР). Я искренно высказывала свои убеждения, которые считаю патристическими, в ответ на что услышала от следователя (?) т. Хазанова необоснованное заявление: «Я не постесняюсь назвать вас провокатором».

В сентябре сего года я и мои единомышленники, согласно со статьями № № 50, 52 новой Конституции, издали один выпуск альманаха «Женщина и Россия», который распространяли как здесь, так и за рубежом, согласно статье № 19 Хельсинкских соглашений 1975 г. Черновой не полный экземпляр макета альманаха (который там ориентировочно назывался «журналом») попал в КГБ и, избрав меня в качестве жертвы, органы начали преследование, пренебрегая статьями 56 и 57 Конституции и ст. № 144 Процессуально-уголовного кодекса. 7 декабря сего года вечером сосед мне вручил повестку, где значилось, что я

в 12 часов дня должна явиться «для беседы» в Куйбышевский КГБ. В этот день я с утра до вечера была с ребенком за городом... По прошествии двух дней (субботы и воскресенья) 10 декабря (в День Прав Человека, совпадающий, кстати, с моим днем рождения) меня утром снова вызвали по телефону в КГБ и принудили меня под давлением подписать «Предупреждение», где значилось, что я «обвиняюсь» (Протокол и на этот раз не велся и никаких разъяснений моих прав на следствии не последовало) «в издании с группой лиц идеологического, тенденциозного журнала». Я довожу до Вашего сведения, т. Прокурор, в письменном виде то, что сказала устно сотрудникам КГБ Ефимову и Хазанову (аналогичную бумагу я получила почтой в Куйбышевский КГБ): «Свою феминистическую деятельность я намерена продолжать, п. ч. считаю феминизм прогрессивным явлением, а женское движение — существенной частью мирового демократического движения. Наше издание альманаха не более тенденциозное и идеологическое, чем всякое другое феминистическое издание, хотя сотрудники КГБ намеренно искажают суть и цели альманаха и вкладывают неверный смысл в свои формулировки. Я и мои единомышленники не считают зазорным высказывать свои убеждения кому бы то ни было: русский ли это или иностранец, сотрудник ли это КГБ или нет. Я весьма сожалею, что в связи с репрессиями со стороны КГБ не могу издать когда бы то ни было второго выпуска альманаха «Женщина и Россия», хотя самосознание наших женщин повысилось настолько, что многие из них изъявляют желание писать непосредственно то, что думают...»

Просьба оградить меня и моих сотрудников от незаконных действий сотрудников КГБ.

Т. Мамонова

Ленинград 14 декабря 1979

«ЗОЛОТОЕ ДЕТСТВО»

Из журнала
"Женщина и Россия" №1, 1979

Мама мне рассказывала то, что в пионерских лагерях было очень хорошо, когда она была маленькая, что там много кружков, то, что там хорошие, дружные ребята, и она говорила, что там было весело. И мне очень хотелось туда поехать: все старались достать мне путевку в лагерь, и бабушка, и дедушка, и папа, но ни у кого не вышло. Но вышло так, что я все время болел и зимой ходил в школу, и в один прекрасный день я узнал, что из-за этого мне в поликлинике дали путевку в лагерь санаторного типа. И я очень обрадовался этому. Когда мне сделали анализ крови, выяснилось то, что у меня высокий лейкоцитоз. Один камень с сердца свалился, другой упал: то, что из-за плохого анализа меня могли не пустить в лагерь. Но когда мы пришли к начальнице поликлиники, то она сказала, что это ерунда и можно ехать в лагерь санаторного типа.

И вот в один солнечный день мы приехали в Старый Петергоф в лагерь "Зарница". Записывала меня в восьмой отряд очень толстая и некрасивая женщина. Но толстых женщин у нас очень много, так что я на это не обратил внимания. Вскоре мы распростились с родителями и пошли на обед. Как только мы отлучились от родителей, воспитательница начала на нас орать, впрочем-то пока что никто из нас ничего плохого не сделал.

Во время обеда она только и делала, что на нас ругалась, и кричала, и орала, но все-таки я думал, что это только такая воспитательница, а дети во много раз лучше. Потом у нас начался дневной сон. Как я уже говорил, мама мне говорила, что в лагере будет очень весело. Но, как только воспитательница вышла, ребята начали рассказывать друг другу неприличные анекдоты. Потом вскочили и стали колотить друг друга. Кончилась эта драка тем,

что двум мальчикам стало плохо, потому что их стукнули со всей силы по голове. Завязал драку Владик просто потому, что ему было делать нечего. А он был сын начальницы лагеря и говорил: "Если вы меня будете бить и не слушаться меня, я скажу маме, и вас выгонят из лагеря". После этой драки они придумали новую игру - "мясорубку". "Мясорубка" - это означает то, что девять человек (хотя у нас было десять человек в палате, но я в такие игры не играл) становились в большой круг, внутри его - маленький круг, а в самой середине стоял один человек (там всегда стоял самый слабый, Женя "Грузин" - его так прозвали). И они лупасили кто кого хочет мокрыми полотенцами с завязанными узлами. На этом тихий час кончился.

Потом мы пошли полдничать и пошли гулять во двор. Хотя везде вокруг были очень красивые лесочки, заросли деревьев, нас пустили только на эту пыльную площадку, которая была прямо перед домом, где находился лагерь. Площадка эта со всех сторон была окружена дорожкой, по которой все время ездили "скорые помощи" (они часто забирали в больницу детей, у которых были травмы). На прогулках мальчишки все время дрались или делали "взрывчатку". "Взрывчатка" - это доска, под которой посередине лежал кирпич, поставленный на ребро. Ребята брали лопух, заворачивали в него кучу песка, клали его на доску с одного конца и прыгали на другой конец доски. Лопух подлетал очень высоко, потом, когда опускался вниз, он разворачивался, куча песка разлеталась, как фонтан, вверх, а потом летела вниз и очень многим сразу же забивалась за шкуру и в волосы. Больше всего они любили, когда выходила "шапочка", то есть лопух, когда начинал снижаться, падал кому-нибудь на голову. Часто это происходило с воспитательницей, поэтому-то они это и любили.

После ужина мы пошли спать. Пока воспитательница была в палате, все лежали в кроватях, как зайчики в норках. Как только воспитательница вышла, все вскочили и стали колошматить друг друга. Потом им это надоело, и они минутки на три легли в кровати. Но вдруг Владика осенило: он придумал новую игру и стал спрашивать, у кого есть шашки. Я им ничего не сказал, хотя у меня шашки были, но они стали обыскивать все тумбочки и нашли у меня шашки. Они взяли, разорвали коробку, выкинули все шашки и начали пуляться. Потом они распахнули дверь и стали выкидывать шашки в коридор. Потом все улеглись, и вдруг распахивается дверь - замок вылетел, и ребята из другого отряда вызвали наших ребят на "войну". Ребята брали мокрые полотенца, завязывали на них узлы, выносили целыми палатами, строились в ряды, и каждый отряд друг на друга нападал. Было, как они называли, армий восемь или десять, они били этими полотенцами по голове. Крики там поднимались, как во время революции, с криками "ура" отряд кидался на отряд, и они сбивали все, что попадалось им на пути.

Вы спросите, где были в это время воспитательницы? Они уезжали в Ленинград, к себе домой, в девять часов. Вы скажите, где были сторожа? Да, у нас был один сторож, но он был внизу и ловил мальчишков из старших отрядов, которые сталкивали друг друга с окон.

После этой драки послышались шаги, и ребята увидели, что идет сторож. Они от него побежали и закричали:

- Пантера, пантера! (так они называли сторожа).

И они прибежали в палату и легли в кровати.

- Что вы не спите, уже два часа ночи! - сказал сторож. Но как только он ушел, ребята откуда-то раздобыли сигареты и стали курить... Утром мы встали, позавтракали и пошли на прогулку в наш пыльный двор. Ребятам вообще там было нечего делать, и поэтому они все время совершали как бы преступления. Однажды уже в последний день перед родительским днем со мной разговорился какой-то мальчик не из моего отряда, и он мне рассказал такую историю: пятилетний мальчик шел спокойно по тропинке, сзади него шел большой мальчик, 15-ти - 16-ти лет, навстречу шел еще тоже большой мальчишка. Тот, который шел сзади, толкнул мальша на другого большого мальчика, тот, на которого малыш упал, взял его за ноги, размахнулся им и ударил о вблизи стоящий деревянный гриб. У того мальчика из головы брызнула кровь, после этого его отвезли в больницу.

А один раз ночью мальчик (это был тот Женя, которого дразнили грузином) лежал в постели, и у него в руках была расческа. Другой мальчик, Игорь, ударил Женю подушкой по расческе так, что расческа через рот вонзилась Жене в горло. Из рта у Жени потекла кровь, и он пошел к врачу - врач на него наорал:

- Зачем ты приходишь ночью, беспокоишь нас, мы тоже хотим спать!

Наутро Женю отвезли в больницу, и больше я его не видел.

Из кружков был только кружок мягкой игрушки, но туда отбирали только девочек. Позднее появился и кружок рисования, но туда, кроме меня и еще четверых детей из всего лагеря, никто не записался, потому что никто больше не хотел рисовать, не хотел заниматься искусством.

Развлечения были очень редко. Дважды мы ходили в Петродворец, и все. Еще был футбол, но туда отбирали только тех мальчиков, которые любили драться. Весь футбол состоял из того, что они избивали вратарей или кого-нибудь из-за угла мячом били. Я в него не хотел играть.

Однажды утром ко мне прибежал в комнату Вова, самый лучший мальчик, который был в лагере. И рассказал такую историю: одного мальчика другой толкнул об стенку, тот стукнулся носом, неудачно упал и сломал себе руку. Его тут же увезли в больницу, но с этим мальчиком, который его толкнул, ничего не сделали, его даже совсем не ругали.

Мальчики из нашей палаты взяли мою панамку и спрятали. Воспитательница увидела, что я гуляю без панамки, и заставила меня надеть шерстяную шапку, хотя было очень жарко. Три дня, пока не появилась пионервожатая, я должен был сидеть на солнце в этой шапке, и мне было очень жарко.

Наша воспитательница однажды во время дневного сна позвала своего внука из 3-го отряда (там мальчики были лет по 14-13), он еще позвал своих друзей. И воспитательница сказала нам:

- Если вы хоть повернетесь, тогда они вас будут бить.

Часто было так, что они приходили к нам в палату во время дневного сна и начинали показывать всякие неприличные фокусы. Из-за этого мы хохотали, за это они на нас садились верхом и начинали нас избивать, чаще всего кулаки попадали или в живот, или в лицо.

У нас в отряде была девочка Севда, которую дразнили негротской за то, что она была из Азии. Я иногда делился с ней конфетами. Это увидели мальчишки и стали меня тоже дразнить и по-всякому надо мной издеваться. Один раз, когда я был дежурный и подметал, один мальчишка выхватил у меня швабру и бросил, чтобы я наклонился ее поднять: он хотел побольше надо мной поиздеваться, как будто я ему кланяюсь. Ночью мальчишки прыгали с кровати на кровать, а потом привязались ко мне. Они меня взяли за руки и за ноги, раскачали и стукнули о железную спинку кровати. Когда меня брали, то я дергался, отбивался, и матрац сбился, а под матрацем была железка. Они меня кинули на эту железку и стали такое делать, о чем я даже не могу написать. Сторож был внизу со старшекласниками, а воспитательницы уехали домой, так что кричать было бесполезно. Четыре мальчика меня держали за руки и за ноги, а остальные били, а Вова был в другой палате и я не мог его позвать. Потом, когда они ушли, у меня жутко разболелась спина, я потрогал ее и увидел, что на спине кровь.

После этого я уже не захотел быть в этом лагере, потому что в этом лагере могли быть или дети очень сильные, драчуны, или те, которые без передышки ругались матом. Я попросил, чтобы мама меня оттуда забрала. Для того, чтобы уехать, надо было подойти к начальнику лагеря и попросить разрешения. Я рассказал мальчикам в палате, что меня мама заберет в воскресенье. Владик, сын начальницы лагеря, тогда сказал:

- Я скажу моей маме, чтоб она тебя не пускала.

Когда мама меня хотела забрать, она подошла к начальнице лагеря и попросила разрешения. Начальница лагеря сказала, что я все вру, что ничего такого и быть не может и никакие ребята никого не бьют - хотя некоторых в больницу увозили прямо на ее глазах. Нам пришлось уехать, скрываясь: я потихоньку вытащил чемодан, и мы поскорее убежали.

После этого я этот лагерь назвал пионерский концлагерь.

*Ваня Пазухин
(9 лет)*

Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ
Константин СНОБЛИНСКИЙ

РАСКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

1

ДО СВИДАНИЯ, ЗИМА!

Наконец-то пришла весна: на деревьях под нашими окнами распустились почки - совсем-совсем маленькие и зеленые.

Мама открыла окно и позвала меня: "Иди-ка сюда, Петя". Я пошел и увидел птичку. Это был воробьишка - крошечный, желторотый, препотешный. Он забавно разевал свой клювик и говорил: "Пить-пить-пить..." Я вдарил его лыжной палкой по голове, отчего он вскоре издох. Тогда я отдал его нашему коту Мурзику. Мурзику очень понравился воробьишка. Он терся головой о мои колени и говорил: "Мяу-мяу-мяу..." А потом Мурзик сдох. Тогда я отдал его нашей собаке Дианке. Дианке очень понравился Мурзик. Она бегала за мной по двору, махала хвостом и говорила: "Гав-гав-гав..." А потом Дианка сдохла. Тогда я отдал ее своим папе с мамой. Папе с мамой очень понравилась Дианка. Они меня целовали, гладили по голове и говорили: "Молодец-молодец-молодец..." А потом папа с мамой сдохли. Мне очень не хотелось их никому отдавать, потому что они были мои. Но потом пришел наш сосед дядя Коля. Он отрезал мне про малюсенькую кусочку от папы с мамой, а остальное унес к себе домой. А потом я сдох.

2

КАК МЫ ГУЛЯЛИ

Папа давно обещал нам, что когда-нибудь сводит всех нас в зоосад поглядеть на зверей. Мы все - это папа, мама, я, маленькая Танечка и собака Бублик. Наконец настало воскресенье и папа сказал, что мы пойдем в зоосад. Мама надела на Танечку ватничек, чтобы она не простудилась и не умерла, взяла Бублика, и мы пошли.

По дороге мы увидели "Чайку" - черную, с желтыми занавесочками, а возле нее стоял дяденька и переодевал носки. Бублик залез под "Чайку" и начал там делать по-большому и по-маленькому сразу. Когда дяденька увидел Бублика, он тихонько сел в машину и вдруг она поехала. Бублик захрустел, забился, потом совсем упал, и из него потекло что-то красненькое.

Нас не хотели пускать в зоосад, потому что папа был очень пьяный, потому что у нас не было билетов и потому что зоосад вообще не работал. Тогда папа сказал, что знает здесь, в заборе, одну дырку, и мы все туда побежали. Когда мы прибежали, дырки уже не было, а вместо нее висел портрет Володи Дубинина. "Понавесили, бляди, на нашу голову, - сказал папа. - Ну ничего: мы все равно там будем". И он стал подсаживать Танечку на забор. Танечка была маленькая и грудная. Она не умела лазить по заборам. Она села на такую острую штуку и заплакала. Тогда папа попробовал Танечку снять, и штука в нее вошла. Танечка захрустела, забилась, и из нее потекло что-то красненькое. "Эх-ма, - сказал папа. - Где наша не пропадала!" И он взял лом и лопату, чтобы делать подкоп. "Не там колупаешь, - сказала мама. - Ты бы лучше..." Тут папа ударил маму ломом по животу, а когда она согнулась и упала, тыкнул ее лопатой в лицо. Мама захрустела, забилась, и из нее потекло что-то красненькое. "Остались мы с тобой без хозяйки, сынок, - сказал папа. - Но лезть надо". И он полез. Тут из-за куста вышел дяденька с двустволкой. Он выстрелил в папу сначала из одного ствола, а когда папа обернулся - из другого. "Уконтрапупил ты меня, Арнольд, - сказал папа, захрустел, забился, и из него потекло что-то красненькое.

Так я и непопал в зоосад.

3

КАК МЫ ИГРАЛИ В ПОХОРОНЫ КОСМОНАВТА

(Текст отобран при обыске в 1972 г.
По памяти восстановить не удалось.)

4

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!

Папа ласково посадил меня на одно колено - другого у него не было - и спросил: "Ну, сын, выкладывай, чего у тебя там?" "Папка, - спросил я, - а как вентилятор прохладно делает?" "Лопастей вентилятора, - ответил папка и ласково обнял меня одной рукой - другой у него не было, - лопасти вентилятора с силой рассекают воздух и гонят его вперед". "Папка, - снова спросил я, - а зачем его рассекают? Ведь он же мягкий, воздух?" "Не-ет, сынок, - ответил папка и ласково посмотрел на меня одним глазом - другого у него не было, - воздух не такой уж мягкий, как кажется на первый взгляд. Воздух оказывает большое сопротивление лопастям вентилятора".

На другой день я стащил из папкиной коллекции напильников самый драчовый и остро-остро заточил лопасти вентилятора, чтобы они еще лучше рассекали воздух. Потом я включил его и подставил

руку, чтобы проверить, хорошо ли он рассекает. Он хорошо рассекал. Моя рука упала на шкаф. Я взял стул, чтобы достать ее, но тут вошла мама. "Что случилось, малыш?" - спросила она. "Руку рубануло", - ответил я. "Ничего, - сказала мама, - до свадьбы заживет". И она ласково прижала меня к одной груди - другой у нее не было. Когда папа узнал о том, что случилось, он достал из своей коллекции протезов самый блестящий и надел его на меня. "Носи, мальчуган", - сказал он и ласково потрепал меня по одной щеке - другой у меня не было.

Андрей ПЛАТОНОВ

ЮВЕНИЛЬНОЕ МОРЕ

ПОВЕСТЬ

День за днем шел человек в глубину юго-восточной степи Советского Союза. Он воображал себя паровозным машинистом, летчиком воздухофлота, геологом-разведчиком, исследующим впервые безвестную землю, и всяким другим организованным профессиональным существом, — лишь бы занять голову бесперебойной мыслью и отвлечь тоску от сердца.

Он управился уже на ходу открыть первую причину землетрясений, вулканов и векового переустройства земного шара. Эта причина, благодаря сообразительности пешехода, заключалась в переменном астрономическом движении земного тела по опасному пространству космоса; а именно — как только, хотя бы на мгновение, земля уравнивается среди разнообразия звездных влияний и приводит в гармонию все свое сложное колебательно-поступательное движение, так встречает незнакомое условие в кипящей вселенной, и тогда движение земли изменяется, а непогашаемая инерция разогнанной планеты приводит земное тело в содрогание, в медленную переделку всей массы, начиная от центра и кончая, быть может, перистыми облаками. Такое размышление пешеход почел ничем иным как началом собственной космогонии и нашел в том свое удовлетворение.

В конце пятого дня этот человек увидел вдалеке, в плоскости утомительного пространства несколько черных земляночных жилищ, беззащитно расположенных в пустом месте.

Пока пешеход спешил к тому поселению, наступил сумрак и в одном жилище зажгли свет.

Поселение оказалось усадьбой: вокруг большого двора стояли четыре землебитных дома и один большой бревенчатый сарай, обваленный по низу землей, в которых разные животные подавали свои голоса. Около сарая бегала на рыскале и бушевала от злобы собака.

На дворе повсюду пахло теплом животной жизни, вокруг лежала смиренная смутная степь, нагретая дневным солнцем, и пришедший человек почувствовал добро здешней жизни и захотел спать.

В одном окне землебитного жилища горел огонь. Прибывший пошел к окну и увидел пожилого человека, который сидел около лампы и читал через очки старинную книгу в заржавленном, железном переплете. Он медленно шептал что-то тонкими усохшими губами и тяжело вздыхал, когда переворачивал страницу, видимо томясь своим впечатлением от чтения.

Пешеход вошел в низкую комнату и поздоровался со старым человеком.

- Здравствуй, - не спеша ответил пожилой. - Соваться пришел?

- Нет, - сказал пришедший и спросил - что здесь такое.

- Здесь мясосовхоз номер сто один, - сказал читавший книгу и, поглядев в страницу, прочитал оттуда какое-то очередное старое слово. - А тебе что нужно? Ты здесь, братец, со своими вопросами не суйся!

- А можно мне увидеть директора? - спросил прибывший.

- Можно, - ответил без охоты пожилой человек. - Глади на меня - это я вот директор. А ты думал - директор здесь кто-то особенный - это же я!

Пешеход вынул бумагу и дал ее директору. В бумаге сообщалось, что в систему мясосовхозов командировается инженер-электрик сильных токов товарищ Николай Вермо, который окончил, кроме того, музтехникум по классу народных инструментов, дотоле же он был ряд лет слесарем, часовым механиком, шофером и еще кое-чем, в порядке опробования профессий, что указывало на безысходную энергию тела этого человека, а теперь он мчится в действительность, заряженный природным талантом и политехническим образованием. Такова была приблизительная тема отношения, препровождавшего инженера Вермо в совхоз.

Прочитав документ, директор вдруг обрадовался и стал говорить с гостем на историческую, мировоззренческую и литературоведческую тему. Он любил все темы, кроме скотоводства, и охотно отдавал мысль любой далекой перспективе, лишь бы она находилась на сто лет впереди или на столько же назад.

Директор почувствовал теперь даже небольшое уважение к культурному служащему, ввиду того, что он не суется с мнениями, а сидит молча и слушает.

Животные давно перестали подавать голоса и задремали до расвета в своих скотоместах. В землебитном домике, где сидели два человека, от лампы и высказанных слов стало душно, скучно, и Николай Вермо уснул на стуле против директора. Собака тоже умолкла к тому времени, не получая из степи отзвука на свою злобу, видимо она смирилась с отсутствием врага и заснула в пустой тыкве, заменяющей ей будку. Эту тыкву совхоз вырастил год тому назад, чтобы показать ее на районной выставке как экспонат агрономического усердия. И действительно, тыква получила премию, а затем из той тыквы выбрали внутренность и сделали из нее собачью будку, поскольку кухарки совхоза отказались обрабатывать для пищи такие слишком мощные овощи.

- Ты не видел нашей тыквы? - спросил директор у Вермо; но Вермо спал. - Ты бы глянул: великое растение! Полезная площадь нашей тыквы - половина квадратной сажени. У нас на дальнем гурте целых сто штук таких выдолбленных тыкв: в них спят доярки и гуртоправы. Я целый жилкризис этими тыквами решил... Ах, ты спишь уже? Ну спи, редкий человек, а я еще почитаю...

И директор снова углубился с интересом в старинную железную книгу, излагавшую историю Иоанна Грозного, приложив к задумавшейся, грустящей голове несколько пальцев правой руки.

Через полчаса прибывший молодой человек проснулся от неудобства и засмотрелся в лицо директора.

- Что вы такое? - спросил Вермо. - Я ведь, может быть, сумею отобразить вас в звуке: я музыке учился.

-образи, - с польщением согласился директор. - Я Адриан Умрицев: я должен у тебя звучать мощно. Я ведь предполагаю попасть в вечный штатный список истории, как нравственная и разумно-культурная личность переходной эпохи. Поэтому ты сочини меня как можно гуще и веди по музыке басом. Я люблю оркестры!.. Ты что думаешь, - переменял голос Умрицев, - иль мне сподручно здесь сидеть среди животных?

- А разве нет? - удивился Вермо.

- Нет, - вздохнул Умрицев. - Я здесь очутился как "невыясненный"! Как выяснюсь, так исчезну отсюда навсегда. Ты можешь или нет сочинить в виде какого-либо гула тоску неясности?

- Могу, наверно, - пообещал Вермо, чувствуя бред жизни от своей усталости и от этого человека.

Умрицев стал высказываться, как он долгое время служил по разным постам в дальних областях Союза Советов и Союза потребительских обществ, а затем возвратился в центр. Однако в центре уже успели забыть его значение и характеристику, так что Умрицев стал как бы неясен, нечеток, персонально чужд и даже несколько опасен. К тому же новая обстановка, сложившаяся за время отсутствия того же Умрицева, образовала в системе такое соотношение сил и людей, что Умрицев очутился круглой сиротой среди этого течения новых условий. Он увидел по возвращении незнакомый мир секторов, секретариатов, групп ответственных исполнителей, единоначалия и сдельщины, - тогда как, уезжая, он видел мир отделов, подотделов, широкой коллегиальности, мир совещаний, планирования безвестных времен на тридцать лет вперед, мир нагретых канцелярских коридоров и учреждений такого глубокого и всестороннего продумывания вопросов, что для решения их требуется вечность, - навсегда забытую теперь старину, в которой зрел некогда оппортунизм. Втуне вздохнув, Умрицев пошел в секторную сеть своего ведомства и стал выясняться; его слушали, осматривали лицо, читали шепотом документы и списки стажа, а затем делали озадаченные, напряженные выражения в глазах и говорили: "Нам все же что-то не очень ясно, необходимо кое-что дополнительно выяснить, и тогда уже мы попытаемся вынести какое-либо более или менее определенное решение". Умрицев ответил, что он вполне ясный ответработник и все достоверные документы при нем налицо. "Все же недостаточной ясности о вас - для нас пока не существует, будем пробовать пытаться выяснить ваше состояние",

- отвечало Умрищеву учреждение. Таким способом Умрищев был как бы демобилизован из действующего советского аппарата и попал в специальный состав невыясненных. В том учреждении, которое заведывало Умрищевым, невыясненных людей скопилось уже целых четыреста единиц, и все они были зачислены в резерв, приведены в боевую готовность и поставлены на приличные оклады. Двадцать три в месяц невыясненные приходили в учреждение, получали жалование и спрашивали: "Ну как, я не выяснен еще?" - "Нет, - отвечали им выясненные, - все еще пока что нет о вас достаточных данных, чтобы дать вам какое-либо назначение, - будем пробовать выяснить!" Выслушав, невыясненные уходили на волю, посещали пивные, пели песни и бушевали свободными, отдохнувшими силами; затем они, собранные из разнообразных городов республики и даже из заграничной службы, шли в гости друг к другу, читали стихотворения, провозглашали лозунги, запевали любимые романсы, - и Умрищев, вспомнив сейчас то невозвратное время невыясненности, спел во весь голос романс в тишине мясного совхоза:

В жизни все неверно и капризно,
Дни бегут, никто их не вернет.
Нынче праздник - завтра будет тризна,
Незаметно старость подойдет.

Когда-то невыясненные громадным хором пели этот романс в буднее время и вытирали глаза от слез и тоски бездеятельности. Именно этот романс они сердечно любили и гремели его во все голоса где-нибудь среди рабочего дня. После сборища невыясненные ночевали и принимали любовниц, - один невыясненный успел уже настолько влюбиться в какую-то сотрудницу, что от ревности ранил ее после занятий чернильницей месткома. Кроме того, невыясненные звонили по казенным телефонам между собой, играли в шашки с ночными сторожами, читали от скорби архивы и писали письма родственникам на бланках отношений. По ночам невыясненные падали со столов, потому что видели страшные сны, а утром одевались поскорее до прихода служащих, выметали мусор и шли в буфет есть первые бутерброды. Когда же бывало вовсе ободняется, невыясненные шли в секторы кадров, к которым они были приписаны, и спрашивали замедленными голосами, уже боясь втайне, что их наконец выяснили и предпишут назначение: "Ну, как? - "Да пока еще никак, - отвечает бывало сектор, - вот у вас есть в деле справочка, что вы один месяц болели - надо выяснить, нет ли тут чего более серьезного, чем болезнь". Невыясненный уходил прочь и, чтобы прожить поскорее служебное время, когда его ночлежное учреждение заселено штатами, заходил во все уборные и не спешил оставлять их; выйдя же оттуда, читал сплошь попутные стенгазеты, придумывал свои мнения по затронутым вопросам, а иногда давал даже свою собственную заметку о каком-либо замеченном беспорядке как единичном явлении. Некоторые невыясненные состояли в своем положении по году; таким говорили, что вот уже скоро они поедут на работу: осталось только выяснить, - почему они не сигнализировали своевременно о какой-либо опасности отставания, когда еще были в прошлом на постах, или - почему ниоткуда не видно, что он не подвергался каким-либо местным взысканиям по соответствующим ли-

ниями, - нет ли здесь скрытых признаков кумовства: именно в том, что послужной список слишком непорочный. Невыясненный начинал уже серьезно и главное тоскливо сознавать, что он ведь действительно смутный, невыясненный и определенно пагубный человек: что-то в нем есть такое скрытое и вредное, объективно очевидное, а лично неизвестное. Он шел тогда с горя в бухгалтерию доказывать, что два месяца не пользовался выходными днями и, получив за них содержание, направлялся к друзьям и товарищам - пить пиво и пить романы среди дня. Один из невыясненных уже настолько полюбил свою волю и безответственность, что когда его действительно куда-то назначили - сурово отказался. Он тихо сообщил про свою глубоко скрытую болезнь, которую он даже сам не чувствует, но которая однако в нем находится. Ему ответили, что скрывание болезни есть та же симуляция, а за симуляцию - суд; и этот невыясненный как бы сошел впоследствии немного с ума.

Сам Умрищев опростался от невыясненности лишь случайно: он вышел однажды в скучный день из учреждения и заметил, что некий человек звал взмахом руки машину. Машина к нему подъехала, и человек сел в нее для поездки. "Слушай, - сказал тогда Умрищев, - подбрось-ка и меня куда-нибудь". - "Почему?" - озадачился из машины человек. "Потому что я член союза и ты член: мы же товарищи!" Человек в автомобиле вначале задумался, а потом сказал: "садись"; в дороге же он задумался еще более, точно вспомнил нечто простое и влекущее, как печной дым над теплым колхозом зимой.

Незнакомый человек привез Умрищева к себе в гости: жена-комсомолка дала обоим прибывшим обед и чай, а затем муж-начальник выслушал на полный желудок и сонную голову беду Умрищева. Жена при этом начала кустарно точить мужа, что он есть худший вид оппортуниста, что он потворщик рвачества и заражен гнилым либерализмом, - если так будет продолжаться, она не может с ним жить. Муж поник от чувствительного стыда, потому что в словах жены была существенная правда, а наутро он дал Умрищеву назначение в мясосовхозе, чтобы человек довыяснился на практической работе. Заодно муж комсомолки разверстал весь резерв невыясненных и предал суду десять служащих своего ведомства, дабы они имели случай опомниться от своих делов. Вечером же, доложившись жене, муж получил от последней тот ударный поцелуй, который он всегда предпочитал иметь.

Чем больше объяснял Умрищев свое течение жизни, тем грустнее становился Вермо; даже изо рта старика, благодаря его уставшему дыханию, выходила скука старости и сомнения. Светлые глаза Вермо, темневшие от счастья и бледневшие от печали, сейчас стали видными насквозь и пустыми, как несуществующие. Прибывший пешеход участвовал в пролетарском воодушевлении жизни и вместе с лучшими друзьями скапливал, посредством творчества и строительства, вещество для той радости, которая стоит в высотах нашей истории. Он уже имел, как миллионы прочих, предчувствие всеобщего будущего, предчувствие, наполнявшее его сердце избыточной силой, - он мог чувствовать даже мертвое, даже основную причину землетрясения и вулканических сил, но вот сидел перед ним старый человек, который не производил на него никакого ощущения,

точно живший ранее начала летоисчисления. Быть может, поэтому Умрищев с такой охотностью читал Иоанна Грозного, потому что ясно сознавал невзгоду своей жизни - ведь все враги сейчас сознательны - и глубоко, хотя и чисто исторически, уважал целесообразность татарского ига и разумно не хотел соваться в железный самотек истории, где ему непременно будет отхвачена голова.

Ночь, теряя свой смысл, заканчивалась; за окном землелитного жилища уже начал прозябать день, и небо покрылось бледностью рассвета: сырая и изможденная, всюду лежала еще ничем не выдающаяся земля, и лишь кое-где на ней стала шевелиться и вскрикивать разнохарактерная живность.

Вермо сидел неподвижно: он видел раннюю бледность мира в окне и слушал начинающееся смятение жизни. Однако это не был тот напев будущего, в который он беспрерывно и тщетно вникал, - это был обычный вековой шум, счастливый на заре, но равнодушный и безотрадный впоследствии.

Умрищев, потеряв интерес к гостю, снова приступил к своему медленному чтению старины, иногда улыбаясь какой-нибудь ветхой шутке, а иногда вытирая слезы сочувственной печали, тем более что он встретил описание того грустного факта, как однажды, при воцарении Грозного, с неба пошел каменный и мелкозернистый дождь, отчего немало случилось повреждения тогдашнему историческому населению.

- Вот были люди и происшествия, - сказал Умрищев, утешаясь книгой; и стал читать вслух: "Царь Иван захотел однажды на святки, имея доброе самочувствие, установить в Китай-городе баловство пищей. Для чего он указал боярину Щекотову привезть откуда ни на есть в тот Китай-город до 70 сбитеньчиков, 45 харчевников, 30 крупенников, 14 обжарщиков и прочую пищевую силу по одному либо по два человека на каждую сортовую еду. Но люди торговые и промысловые откупились от той милости, дабы не соваться в испытанное, а сговорились меж собой есть до смерти добрые домашние щи, либо тюрю". - Умрищев здесь отринул от чтения и довольно улыбнулся:

- Да у нас в один районный центр требуется больше пишевиков, чем во весь Китай-город: минималисты были, черти - одну тюрю любили!

Николай Вермо уже давно соскучился с этим неясным человеком и встал, чтобы уйти прочь, тем более что на дворе уже разгорался новый день, а здесь горела лампа.

- Ну, я пойду, - стеснительно сказал Вермо. - До свиданья.

- Ступай и не суйся, - ответил директор. - Чем старина сама себя пережила: она не совалась!.. Ступай, а то мне тоже вскоре надо поехать кой-куда: окоротить сующихся...

После ухода инженера Умрищев взял из-под стола следующую книгу и заинтересовался ею. Это была "Торговля пенькою в Шацкой провинции - в 17 веке". Он и пеньку любил, и шерсть, и пшено, и быт мещерских и мордовских племен в моршанском краю, и черное дерево в речных глубинах, и томление старинных девушек перед свадьбой, - все это полностью озадачивало и волновало душу Умрищева; он старался постигнуть тайну и скуку исторического времени, все

более доказывал самому себе, что вековые страсти-страдания происходят оттого, что люди ведут себя малолетним образом и повсюду неустанно суются, нарушая размеры спокойствия.

* * *

Вермо вышел на солнце и не спеша отправился через центральную усадьбу на дальние гурты. Босые доярки уже несли ведра с молоком, шагая по земле толстыми ногами; на пороге ночлежной горницы сидел пожилой пастух, - он ел что-то из чашки на коленях и поглядывал на доярок, на незнакомого человека и на отдаленные пастбища, где ему придется пробыть весь день и много воображать, вследствие того, что пастуху на целине мало работы и все время думается разное в голову.

Вместе с Вермо из совхоза вышла молодая женщина и пошла с ним нечаянно рядом. Она была немного привлекательна, но, видимо, проста и доверчива, так как шла и рассматривала человека объективно, как вещь, еще не чувствуя к нему ни вражды, ни любезности. А Вермо уже стеснялся ее, как человек, у которого сердце всегда живет под напором скопившейся любви и который, не испытывая еще, быть может, женщины, уже боится исчезнуть в неизвестном направлении собственной страсти, невнимательно храня себя для высшей цели. Но тайне, стесненным сердцем, Николай Вермо мог любить людей сразу, потому что тело его было уже заранее переполнено безысходной жизнью. Он осмотрел в последний раз женщину - она была действительно сейчас добра и хороша: черные волосы, созревшие в жаркой степи, покрывали ее голову и приближались к глазам, блестящим уверенным светом своего чувства существования; ее скромный рот, немного открытый (от внимания к постороннему), показывал прочные зубы, которые потемнели без порошка, и грудь дышала просторно и терпеливо, готовая кормить детей, прижать их к себе и любить, чтобы они выросли. Вермо возмужал от волнения, его стеснительность прошла, и он сказал женщине хриплым, не своим голосом:

- Как скучно бывает жить на свете!

- Отчего скучно? - произнесла женщина, - нам тоже еще не весело, но уже не скучно давно...

Инженер остановился; спутница его также дальше не пошла, и он снова неподвижно рассматривал ее - уже всю, потому что и туловище человека содержит его сущность. Глаза этой женщины были сейчас ясны и осторожны: безлюдье лежало позади ее тела, - светлый и пустой мир, все качество которого хранилось теперь в этом небольшом человеке с черными волосами. Женщина молча стояла перед своим дорожным товарищем, не понимая или из хитрости.

- Скучно оттого, что не сбываются наши чувства, - глухо проговорил Вермо в громадном и солнечном пространстве, покрытом дымом пастушьих костров. - Смотришь на какое-нибудь лицо, даже неизвестное, и думаешь: товарищ, дай я тебя поцелую. Но он отвернется, - не кончилась, говорит, классовая борьба - кулак мешает коснуться нашим устам...

- Но он не отвернется, - ответила женщина.

- Вы, например, - спросил Вермо.

- Я, например, - сказала женщина из совхоза.

Вермо обнял ее и долго держал при себе, ощущая теплоту, слышая шум работающего тела и подтверждая самому себе, что мир его воображения похож на действительность и горе жизни ничтожно. Тщательно все сознавая, Вермо близко поглядел в лицо женщины. Она закрыла глаза, и он поцеловал ее в рот. Затем Вермо убедился еще раз в истинности своего состояния и, сжав слегка человека, уже хотел отойти в сторону, сохраняя приобретенное счастье, но здесь женщина сама поддержала его и вторично поцеловала.

- Суешься уже? - сказал огорченный и забытый голос со стороны.

Пока двое людей глядели только друг в друга, подъехал верхом третий человек - Умрицев и загодя засмеялся такому явлению поцелуя в степи.

- Она мне очень понравилась! - ответил Вермо; и ему опять стало скучно от лица Умрицева.

- Ну и пускай понравилась, а ты не суйся! - посоветовал Умрицев. - Тебе нравится, а ты в сторонку отойди, - так твое же добро целей-то будет: ты подумай...

- Проезжай, Умрицев, - сказала женщина. - На гурте доярка удавилась: я с тобой считаться иду!

- Ну-ну, приходи, - охотно согласился Умрицев. - И - только в женскую психиатрию я соваться не буду.

- Я тебя сама туда всуну, - обратно не вылезешь, - сказала женщина обещающим голосом.

- Не сунусь, женщина! - ответил Умрицев. - Пять лет в партии без заметки просостоял - оттого, что не совался в инородные дела и чуждые размышления, - еще двадцать просостою - до самого коммунизма без одной родинки проживу: успокойся, Босталоева Надежда!

Умрицев тут же уехал, а женщина, Надежда Босталоева, еще постояла, думая уже не о своем ближайшем товарище, а о мертвой доярке, но глаза ее были все такими же, как и во время дружбы с Вермо.

По дороге до гурта инженер узнал, что его попутная подруга работает секретарем гуртовой партиячейки и ей здесь тяжело, иногда мучительно, зачастую страшно, но она не может сейчас жить какой-либо легкой жизнью в нашей стране трудного счастья.

Босталоева шла впервые на этот гурт; до того она работала на другом гурте, но теперь здесь стало слишком тяжело и сложно, - прежний секретарь на здешнем гурте пал духом, и комитет партии послал сюда - в "Родительские Дворики" - Надежду Босталоеву, чтобы разбить и довести до гробовой доски действующего классового врага.

* * *

Гурт "Родительские Дворики" находился в русле древней речки, высохшей лет тысячу тому назад. Два землебитных жилища составляли убежище гуртовщиков на зимнее время, а для укрытия от летнего ненастья лежали по окрестной степи громадные выдолбленные тыквы.

Судя по ландшафту, насколько хватало зрения, гуртовая база была расположена разумно и удобно: ровно и спокойно лежала земля на десятки видимых верст, как уснувшая навеки, беззащитная и открытая зимнему холоду и всем безлюдным ветрам; лишь по одному месту та земля имела впалое положение, и там было слабое затишь от вихрей непогоды, — это и был след, прорытый древней и бедной рекой, теперь задутый суховеями, погребенный наносами до последнего ослабевшего источника, умолкшей навсегда. Но памятники реки, в виде песчаных выносов, еще лежали на гуртовой усадьбе, и для их зарощения в песок были посажены прутья шелоги и чернотала, а между теми прутьями и самородными лопухами лежали ночлежные пустые тыквы великого размера.

Посреди гуртового места находился срубовый колодезь, и две батрачки непрерывно вытаскивали ручную силой воду из глубины земли и относили ее в бак — для питья людям и животным.

Те "Родительские Дворики" имели списочное число коров — четыре тысячи: не считая быков, лошадей, волов и разной мелкой подспорной живности, в форме кроликов, овец, кур и прочих существ. Стало быть, сам тот гурт составлял из себя уже мощный мясосовхоз и являлся надежным источником мясной пищи для пролетариата.

Когда Вермо и Босталоева только пришли на гурт, Умрищев там уже господствовал и проверял все элементы хозяйства, какие попадались ему навстречу. По сторонам Умрищева ходили два человека — заведующий гуртом зоотехник Високовский и старший гуртоправ Афанасий Божев.

— Вы должны вести себя, как две мои частности, — говорил им Умрищев на ходу, — и бездирективно никуда не соваться.

— Нам это, Адриан Филиппович, понятно: обстановочка ведь суетливая! — охотно и даже счастливо отвечал Божев, а сам улыбался своим чистым и честным лицом, на котором приятно находились два благожелательных глаза степного светлого цвета.

Високовский молчал. Он любил скотину сама по себе и давно собирался уйти работать в область племенного животноводства, дабы воспитывать скот для рождения потомства, а не для убийства; он был худой по телу, может быть потому, что больше ел молоко, прудовую рыбу, кашу и редко брал говядину, и знал свою науку с угрюмой точностью — видел в любом животном не только вес и продуктивность, но одновременно и субъективное настроение. За это его любили в скотоводческом объединении и платили ему большие средства, которые он, не имея родных, тратил на баловство любимой скотины; например, он приобретал шерстяной материал и сам шил худой на зиму для кроликов, угощал быков солеными пышками, построил стеклянную теплицу печного отопления — с тем, чтобы там росла зимой свежая кормовая трава для мужающих телят, которым уже надоело молоко, — и еще многое другое совершил Високовский ради любви своей к делу.

Меж тем Умрищев совершал свои замечания по гурту. Выйдя в пекарню, он отпробовал хлеба и сказал ближним подчиненным: "печь более вкусный хлеб". Все согласилось. Выйдя наружу, он вдруг задумался и указал Високовскому и Божеву: "серьезно продумать все формы и недостатки". Божев сейчас же записал эти слова в свою

книжку. Увидя какого-то человека, тихо шедшего стороною, Умрищев произнес: "усилить трудовую дисциплину". Здесь что-то помешало Умрищеву идти дальше: он стал на месте и показал в землю: "сорвать былинку на пешеходной тропинке, а то бьет по ногам и мешает сосредоточиться". Божев наклонился было, чтобы сразу уничтожить былинку, но Умрищев остановил его: "ты сразу в дело не суйся, - ты сначала запиши его, а потом изучи: я же говорю принципиально - не только про эту былинку, а вообще, про все былинки в мире". Божев спешно записал, а Високовский шел рядом, ничего не говоря и не делая. Вскоре на тропинку выбежал кролик и от внезапного ужаса не мог бежать, а стал на задние ноги, обратив лицо прямо к людям.

- Хорошее животное! - оценил Умрищев кролика.

- Да оно ничего: оно милое, Адриан Филиппович! - согласился Божев.

Невдалеке показалась свинья; она подошла к Умрищеву и покрутила около него хвостом, что также понравилось Умрищеву, и он одобрил это животное.

Но зато придя в служебный кабинет Високовского, Умрищев сразу почувствовал ярость. В самом деле, - в кабинете было кругом нечисто, имелись следы и остатки каких-то огромных животных, точно сюда приходили по делам быки, пригибаясь в дверях; бумаги лежали под бутылками с мочей больных коров, стены не имели убранства и были покрыты разными итоговыми данными, и на стуле у стола сидел, как посетитель, подсвинок.

- Это ж государственная измена! - воскликнул Умрищев в кабинете. - Вы весь авторитет нашего руководства роняете вниз! - закричал он по направлению к Високовскому. - Вас скотина здесь не уважает, а вы целым штатом хотите руководить! За такие кабинеты надо вон с отметкой увольнять!

- Тише, начальник, - попросил Високовский, - говорите негромко: я вас услышу все равно.

- Вас бы надо гидрометеором по голове, - потише сказал Умрищев, - чтоб вы почувствовали что-то.

- Гидрометеор - это дождь, товарищ Умрищев, - равнодушно заявил Високовский.

- Я имею в виду тот дождь, - объяснил Умрищев, - который шел при Иоанне Грозном, - каменный, исторический дождь!

Вслед за тем Умрищев велел Божеву позвать гуртового кузнеца Кемаля, убогого глухонемого счетовода Тишкина, профуполномоченного, старушку Федератовну, а заодно и Босталоеву с явившимся зачем-то инженер-музыкантом. Умрищев любил иногда собрать, как родню, подчиненный аппарат в кучу и поговорить с ним по душам, не составляя повестки дня.

* * *

Босталоева вошла в свое новое жилище, а Вермо остановился у входа. Это было временное общежитие, построенное из земли и открытое для крепости дерном.

На правой половине земляной горницы лежали во сне усталые доярки и телятницы, а налево храпели пастухи, водоносы, колодез-

ники, случники, студенты-ветеринары и прочие профессии: некоторые же сидели на земляном полу и писали письма далеким товарищам или читали книги, чертили изображения и думали, облокотившись на руку.

Тут же в сенях общежития, на большом столе для кружковых занятий лежал мертвый человек. Он был покрыт красным сукном, но одна небольшая старая женщина приоткрыла сукно у изголовья мертвеца и гладила свободной рукой чье-то остывшее лицо.

- Это Айна? - спросила Босталоева у той устарелой женщины.

- Да - то кто же! - раздражительно ответила бочонковидная старушка и обернулась своим лицом, похожим на блюдцеобразное озеро.

Вермо подошел со стороны и загляделся на покойницу. Смуглая девушка, наверно киргизка, лежала навзничь с постаревшим грустным лицом и открыла рот от последней слабости. Босталоева приподняла покрывало на покойнице и стала ощупывать своей рукой тело Аины, будто разыскивая следы смерти и тайное место гибели человека. Инженер так же близко наклонился над скончавшейся; он увидел опухшее от женственности тело, уже копившее запасы для будущего материнства, и терпеливые рабочие руки, без силы сложенные на животе; Вермо разглядел полотно рубашки, которое повсеместно выдавали ударникам, и почувствовал запах еще сохранившегося пота и прочих отходов уже умолкшей, трудной жизни; но смерти нигде не было заметно.

Тогда Босталоева отвернула ворот на горле Аины, и все увидели темный запекшийся рубец вокруг шеи, - след от бичевы, которая перерезала гортань и сожгла дыханье этой девушки.

Здесь пришел Афанасий Божев и позвал Босталоеву с инженером на совещание.

- Ведь миллиарды разных людей умерли бесполезно, - сказал Божев, - что же вы одну-то стоите жалеете! Мало ли на свете жителей осталось!.. Жалейте хоть меня, если в вас гнилой либерализм бошует!

- Всех жалеть не нужно, - заявила старушка, бывшая тут, - многих нужно убить...

Сказав это, пожилая рабочая отвернула от горя свое лицо, и все промолчали, не понимая значения ее речи, а потом ушли на гуртовое совещание.

Когда Божев привел Босталоеву и Вермо, Умрищев уже давно говорил, сам не понимая о чем, а только чувствуя что-то доброе. Он развивал перед присутствующими различные картины мероприятий, например, - предполагал так организовать все гуртовые работы, чтобы каждый уж молчал постоянно, делал по раз запущенному порядку свое узкое, мирное дело и ни во что не совался.

- Каждому трудящемуся надо дать в его собственность небольшое царство труда - пусть он копается в нем непрерывно и будет вечно счастлив, - развивал Умрищев вслух свое воображение. - Один, например, чистит скотоместа, другой чинит по степи срубовые колодцы, третий пробует просто молоко - какое скисло, какое нет, - каждый делает планово свое дело, и некуда ему больше соваться. Я считаю, что такая установка даст возможность опомниться мне и всему руководящему персоналу от текущих дел, которые

перестанут к тому времени течь. Пора, товарищи, социализм сделать не суетой, а заботой миллионов.

Собрание молчало; старушка Федератовна уже загорюнилась, облокотившись на коричневую руку; она знала, что ей думать, и глядела на Умрищева, как на подлого.

- Что здесь такое? - спросила Босталоева. - Что мы обсуждаем и какая повестка дня?

- Я ничего не понимаю, - со сдержанной враждебностью объяснил Високовский. - Обратитесь к товарищу директору: он должен знать.

Високовский, презирая Умрищева, начинал распространять свое холодное чувство уже гораздо шире. Может быть, на весь руководящий персонал советского скотоводства. Босталоева это поняла.

- А теперь слушайте меня дальше, - говорил Умрищев. - Есть еще разные неопределенные вопросы, изученные мною по старинной и по советской печати. У грабарей дети рожаются весной, у вальщиков - среди лета, у гуртоправов косени, у шоферов зимой, монтажники отделяются к марту месяцу, а доярки в марте только починают: поздно-поздно, голубушки, починаете, - летом носить ведь жарко будет!..

- Да что ты скучаешь-то всё, батюшка: то жарко, то тяжко, - осерчала старушка, - да мы вытерпим!

Умрищев только теперь обратил свой взгляд на ту старушку, и вдруг все его задумчивое лицо сделалось ласковым и снисходительным.

- Стару-у-шка! - сказал он с глубоким сочувствием.

- Стари-чок! - настолько же ласково произнесла старушка.

- Ты что ж - существуешь?

- А что ж мне больше делать-то, батюшка? - подробно говорила старушка. - Привыкла, и живу себе.

- А тебе ничего, не странно жить-то?

- Да мне ничего... Я только интервенции боюсь, а больше ничего... Бессоница еще мучает меня - по всей республике громовень, стуконень идет, разве тут уснешь!

Здесь Умрищев даже удивился:

- Интервенция?! А ты знаешь это понятие? Что ты во все слова суешься?..

- Знаю, батюшка. Я все знаю - я культурная старушка.

- Ты наверно Кузьминишна?! - догадывался Умрищев.

- Нет, батюшка, - ответила старушка, - я Федератовна. Кузьминишной я уже была.

- Так ты, может, формально только культурной стала? - несколько сомневался Умрищев.

- Нет, батюшка, я по совести, - ответила Федератовна.

Умрищев встал на ноги и сердечно растрогался.

- Дай я тебя поцелую!

- Нежная моя, научная старушка! - говорил Умрищев, целуя Федератовну несколько раз. - Никуда ты не совалась, дожила до старости лет и стала ты, как боец против всех стихий природы!

- И против классового врага, батюшка! - поправила Федератовна. - Против тебя, против Богава Афанаса и против еще каких-нибудь, кто появится... Я ведь все кругом вижу, я во все суюсь, я всем здесь мешаю!..

- Говори, бабушка, - обрадованно попросила Босталоева. - У нас повестки дня нету, а ты факты знаешь!

- Да то, ништ, я фактов не знаю! - медлила Федератовна. - Я всю республику люблю, я день и ночь хожу и щупаю, где что есть и где чего нету... Да без меня б тут давно мужики-единоличники всех коров своих гнусных на наших обменяли, и не узнал бы никто, а кто и проведаль бы, так молчал уж: ей ему жалко нашу федеративную республику!? Ему себя жалко!

Босталоева в тот час глядела на Николая Вермо; инженер все более бледнел и хмурился - он боролся со своим отчаянием, что жизнь скучна и люди не могут побороть своего ничтожного безумия, чтобы создать будущее время. Когда начал говорить Божев, - задушевно, с открытым и правдивым лицом и с милыми глазами, светящимися пролетарской ясностью, - Вермо заслушался одних звуков его голоса и был доволен, но потом, когда почувствовал весь смысл хитрости Божева, то отвернулся и заплакал. Федератовна, бывшая близко, подошла к инженеру и вытерла ему глаза своей сухой ладонью.

- Будет тебе, - сказала старушка, - иль уж капитализм наступает: душа с советской властью расстается. Мы их кокнем: высохши глазами-то.

Собрание сидело в озадаченном виде. Одна Босталоева улыбнулась и захотела узнать, в чем Умрищев и Божев каются: ведь обвинение их бабушкой Федератовной голословно, она, может быть, недовольна не классовыми фактами, а лишь старостью своих лет.

Божев в молчаливом обозлении сжал зубы во рту: он сразу понял, какую мучительную ошибку он совершил, испугавшись обвинения старухи из ее щербатого рта - ведь действительности никто здесь не знает. Умрищев же думал безмолвно для самого себя: "Всю жизнь учился не соваться, а тут вот сунулся с покаянием - пропал! Ну кто тебе директиву соваться дал - скажи, пожалуйста: кто? Жил бы себе молча и убого, как остальные два миллиарда живут!"

Божев, засмеявшись, предложил всем перейти к текущим делам, поскольку бабушка Федератовна отлично понимает, что единственным желанием его и Умрищева было доставить удовольствие заслуженной совхозной бабушке и, стало быть, не прекословить ей. Это же явно, - это ведь было предпринято ради уважения к трудовому стажу Федератовны, но вовсе не ради какой-либо идейной серьезности. Умрищев же уныло промолвил, что ошибиться он давно не может, поскольку для оперативного свершения ошибки надо все же сунуться куда-то или во что-то, а он давно уж ни до чего не касается, особенно до вопросов мировоззренчества.

- Товарищи, на дворе, пока мы сидим, наступил тем временем вечер, - сказал в заключение Умрищев. - Посмотрите, как это довольно хорошо. Посмотрите затем на эту советскую старушку (он показал на Федератовну) - разве это не вечер капитализма, слившийся на севере с зарей социализма? И разве не приятно сказать нашей Федератовне, этой доброй тетушке всего будущего и теще всего прошлого, словесную милость? Пусть она утешается попустому на старости лет.

Здесь Федератовна, как была, так и схватила Умрицева за отросшую бороду, на что Умрицев даже не вскрикнул, решив уже претерпеть все это, как самую дешевую муку, а Божев моментально обнял всю старушку - с одной стороны, для ласкового успокоения, с другой - для защиты Умрицева. Но Федератовна, обернувшись, хлестнула ладонью по лицу Божева, и он не посмел обидеться. Ночью же, уцтя эпоху, Божев уничтожил все ночленные тыквы, чтобы улучшить тем самым свое политическое положение и ослабить очередную невзгоду жизни.

* * *

На следующий день доярку Айну понесли в гробу два выходных пастуха. За ее гробом шла подруга-профуполномоченная, провожавшая тело, несмотря на неплатеж Айной членских взносов, тут же находился кузнец Кемаль, вздыхавший все время от какой-то нечленораздельной силы, затем двигался Умрицев с Божевым и в стороне ото всех шла Надежда Босталоева, держа за руки Мамеда, малолетнего брата Айны. Впереди гроба шел Вермо. Один скотник имел хроматическую гармонию и дал ее Вермо, чтобы музыка сопровождала погибшую.

До могилы было далеко - версты две; друг Айны, кузнец Кемаль, выбрал для погребения сухое песчаное место и вырыл там могилу, чтобы девушка побольше пролежала целой.

Когда вышли подальше, Николай Вермо сыграл по слуху Апассионату Бетховена; в течение игры он чувствовал радость и победу, и желание отомстить всему миру за беззащитность человека, которого несли мертвым следом за ним. Существо жизни, беспощадное и нежное, волновалось в музыке, оттого что оно еще не достигло своей цели в действительности, и Вермо, сознавая, что это тайное напряженное существо и есть большевизм, шел сейчас счастливым. Музыка исполнялась теперь не только в искусстве, но даже на этом гурте - трудом бедняков, собранных из всех безнадежных пространств земли.

С пустого неба солнце освещало землю и шествие людей; белая пыль золотых песков неслась в атмосферной высоте - вихрем, которого внизу было не слышно, - и солнечный свет доходил до земной поверхности смутным и утомленным, как сквозь молоко. Жара и скука лежали на этой арало-каспийской степи; даже коровы, вышедшие кормиться, стояли в отчаянии среди такого тоскливого действия природы, и неизвестный бред совершался в их уме. Вермо, мгновенно превращавший внешние факты в свое внутреннее чувство, подумал, что мир надо изменять как можно скорей, потому что и животные уже сходят с ума. В этом удручении Вермо спросил у Босталоевой, что ей представлялось, когда он играл.

- Мне представлялась какая-то битва, - как мы с кулацким классом, и музыка была за нас! - ответила Босталоева.

Вермо сыграл далее свое сочинение, заключавшее надежду на приближающийся день жизни, когда последний стервец будет убит на земле. Вермо всегда не столько хотел радостной участи человечеству, - он не старался ее воображать, - сколько убийства всех врагов творящих и трудящихся людей.

Поэтому его музыка была проста и мучительна, близкая по выразительности к произношению яростных слов. Одна пьеса Вермо таковой и была, и он сыграл ее, когда гроб поднесли к степной песчаной могиле. Умрищев и Божев не понимали музыки Вермо; они думали, что эти звуки имеют горестное значение, и понемногу плакали из приличия.

Около открытой могилы уже сидела Федератовна и смотрела внутрь земли. Она смерти не боялась, ей только было удивительно - куда же денется ее активная сила, если придется умереть, и кто будет болеть тогда старой грудью за совхозное дело.

- А ты что ж мало плачешь-то? - спросила она у Божева. - Ишь какой сухой весь пришел!

- Ветер слезы сдувает, Мавра Федератовна, - объяснил Божев.

- Ветер? - удивилась Федератовна. - А ты отвернись от него на тихую сторонку и плачь!..

Божев отвернулся и посылался добавочно поплакать, глядя свое лицо со лба вниз, - но Федератовна, обождав, подошла к нему, провела рукой по лицу, попробовала слезную влагу Божева на язык и обнаружила:

- Разве это слезы? Они же не соленые! Ты пот со лба на глаза себе сгоняешь, - ты вон что надумал, кулацкий послед!

- Ей-богу, это слезы, Мавра Федератовна, - увещевал Божев, - у тебя язык не чует.

- У меня-то не чует? - допытывалась Федератовна. - А если б и чуял, так я своему языку не поверю, я только уму своему верю да партии большевиков!..

Айну в тот момент положили на край могилы. Все прибывшие люди стояли вокруг покойной и смотрели в ее лицо, уже снедаемое ветхими силами смерти, старое, как у Федератовны.

- Прощай, дочка! - сказала Федератовна и, согнувшись, поцеловала Айну, и видно было, как тело старухи стало изнемогать от немощи, от забот и от злости к действующему живому врагу.

Надежда Босталоева расцеловала девушку-киргизку страстно и несколько раз, а Умрищев только коснулся рукой ее лба и произнес: "Что ж тут горевать или поражаться: смерть всегда присутствует в текущих делах истории!"

Вермо попрощался с Айной предпоследним; целуясь с умершей, он подумал, что если б она осталась жива, он мог бы жениться на ней. Афанасий же Божев припал к Айне в последнюю очередь, и зарыдал над ней искренним голосом.

- Это он от страха старается: горя в нем нету! - определила Федератовна страдание Божева.

Но Божев поднял лицо кверху и все увидели на нем открытую печаль. Кузнец Кемаль спустился в могилу, и ему подали гроб; Кемаль положил получше гроб в земле и прибил крышку, навеки отделив умершую от ее врагов и товарищей, от всей будущей жизни, которую Айна хотела, как девушка и комсомолка.

Брат Айны Мамед, не горевавший по сестре, потому что она стала для него страшная и чужая, подошел к Божеву и сказал ему:

- Дядь, на ней твоя веревка осталась. Она кругом пуза завязла. Ты ее лучше возьми.

Кемаль сейчас же вскрыл гроб и развязал у покойной пояс. Это была крученая бичева, какие применяют для кнутов. Кемаль тут же отдал эту бичеву Божеву и закрыл гроб вторично.

- Ей больно было, а ты ее бил! - равнодушно сказал Мамед Божеву, глядя на крученую бичеву. - Она взяла и умерла, а ты с веревкой остался!

* * *

На гурт "Родительские Дворики" прибыло много народа. Москвич, член правления Скотоводобъединения, и худой секретарь недалекого райкома партии повели так называемое глубокое обследование всего мясосовхоза; Умрищев же был на воле и давал начальству такие объяснения, которыми старался поставить всех в тупик.

- Был ли на совхозе распространен ваш лозунг "а ты не суйся!?" - спрашивал Умрищева секретарь райкома.

- Был, конечно, - охотно отвечал Умрищев; чем вопрос был опасней, тем Умрищев добрее и подробней отвечал на него. - Вот Божев сунулся к Айне - ее погубил и сам пропал. Этот лозунг, дорогой товарищ, идет по всему свету еще от Иоанна Грозного, а Грозный ведь был глубокий человек: ты возьми данные истории! Желашь, я тебе предложу кое-что для чтения?

- Не желаю, - говорил секретарь. - Вы мне скажите другое: сколько ежедневно пропадало молока в совхозе? Сколько у вас выдавалось из совхозных коров молока - руками окрестных кулаков и зажиточных единоличников? Можете ответить?

- Ну, еще бы! - сообщал Умрищев. - Наша старушка Федератовна совалась, вот, повсюду и говорила мне, что ведер тысячу. А если б она не совалась, то и до тебя бы дело не дошло и вопроса такого бы не стояло.

- Хорошо, - спокойно произносил секретарь, безмолвно борясь со своим сердцем. - Сколько племенных совхозных коров кулаки обменяли на свой беспородный скот? - При содействии Божева, конечно!

- Я в этот счет не вмешивался, - с точностью отвечал Умрищев. - Я вел глубокую тактику и довольно принципиальную политику. А именно: пускай хоть кулаки, хоть бедняки, хоть - кто, поменяют немножко своего скота на наш. Кулак раскулачат, бедняк войдет в колхоз - и все совхозное племя попозже или пораньше все равно очутится в обобщественном секторе. А вот в этом-то и скажется доброе, хозяйственное и ведущее влияние совхоза на колхозную прицепку! Теперь тебе понятно?

- Вы подлец и дурак, - тихо сказал секретарь, бледнея от сдерживаемого страдания: - кулак порежет наш племенной скот, а ваш беспородный скот принесет нам одни убытки и повальные болезни.

- Какой это ваш и какой это мой скот? - спросил Умрищев. - Я имею собственность только в виде идейных мыслей, а не коров, я ношу при себе билет члена партии! Ты, брат, особото не суйся!

- Вы правы, - говорил секретарь, - билет члена партии вы носите при себе. Но я не прав, что сволочь его носит!

Умрищев вскочил во весь рост, желая как можно мужественней возмутиться, но вдруг икнул два раза подряд от нервного страха и заикал далее беспрерывно.

- Это я... книг начитался. Это я... исторически хочу... Ты гляди на меня, как...

- Как на икающего оппортуниста, - сказал секретарь.

- Хоть бы... так, - икая, соглашался Умрищев.

- Как на второго убийцу киргизской девушки и как на кулацкого мерзавца!

Здесь Умрищев позабыл икнуть очередной раз и вовсе освободился от икоты.

Секретарь райкома отвел глаза на маленькое окно гуртовой избы и что-то подумал о летнем дне, блестевшем за стеклом. Он вообразил красоту всего освещенного мира, которая тяжело добывается из резкого противоречия, из мучительного содрогания материи, в ослепшей борьбе, - и единственная надежда для всей изможденной косности, - это пробиться в будущее через истину человеческого сознания - через большевизм, потому что большевизм идет впереди всей мучительной природы и поэтому ближе всех к ее радости; горестное напряжение будет на земле недолго. Секретарь райкома вспомнил затем Надежду Босталоеву, чьи черные таинственные волосы, скромный рот и глаза, в которых постоянно стоит нетерпеливое искреннее чувство, создавали в секретаре странное и неосновательное убеждение, что эта женщина одним своим существованием показывает верность линии партии и вся голова, туловище, всякое движение Босталоевой соответствуют коммунизму и обеспечивают его близкую необходимость; Босталоева бы умерла при торжестве кулачества или мелкой буржуазии. Но секретарь был приучен большевизмом к беспощадному разложению действительности, и он сказал самому себе, не обращая внимания на Умрищева:

- Я, наверно, субъективно люблю Босталоеву и наряжаю ее в идеологическое подвенечное платье... Я опоздал, - ее надо давно назначить на гурт, пусть она покажет себя в действии, и я полюблю ее сильнее или разлюблю совсем...

Умрищев тем временем настолько обозлился на все сущее, что решил уехать в дальний сибирский район, сделаться там секретарем и основать районное негласное оппортунистическое царство, в форме Руси Иоанна Грозного или мещерского племени: все равно ничего не будет, пускай хоть покой обоснуется в отдаленном месте, а прожить можно одним пеньковым промыслом, или даже не евши, чем так теоретически мучиться.

- Как теперь партия? - спросил Умрищев: - наверно разлюбит меня?

- Очевидно, - сказал секретарь, и послал его к прокурору, который уже давно ожидал Умрищева где-то на завалинках гурта.

- Ну, тогда я соваюсь начну! - пообещал Умрищев, - как-нибудь она меня полюбит! - И ушел.

Как только завечерело, секретарь начал пить чай и позвал к себе Босталоеву с мальчиком Мамедом, чтобы угостить их чем-нибудь сладким. Федератовна же пришла по своей доброй воле и начала причитать беспрерывно, что районная контора задерживает контингенты стройматериалов для совхоза, что переводы кредитных лимитов опаздывают, что среди пастухов слаба культработа и ма-

лозаметно самозакрепление. При этом она плакала горячими слезами, так как у нее серьезно болело сердце, и запивала чаем потерю своих сил. Вспомнив об Айне, она уже не могла нагореваться: ведь было же четко и ясно, что Божев - классовый враг, отчего она не поверила своему предчувствию, своему ноющему сердцу, а ждала фактов, либеральничала и объективно помогала совершиться смерти.

- Бабка - дура, - сказал Мамед. - Всегда плачет и всегда живет. Сестра не плакала, а умерла...

- Я тебя в ясли завтра отдам: у подкулачников брехать научился? - сказала старуха.

- Там страшно, - произнес мальчик.

- А чего тебе страшно там? - спросила Босталоева.

- Там старик с бородой как картина висит, - сказал Мамед. - Бабкин жених...

Секретарь и Босталоева поняли мысль ребенка и засмеялись, а Федератовна обиделась за Карла Маркса, хотя секретарь уверял ее, что и Маркс бы улыбнулся сейчас.

- Ты знаешь, отчего умерла твоя сестра? - спросил секретарь у Мамеда.

- Бабка говорила - от нее, - ответил Мамед: - у бабки бдительность пропала. А сестру Афанас измучил, не бабка.

Мальчик представлял сестру с живостью всех фактов ее мучения. Она жила тогда за десять верст от гурта, в землянке у дальнего пастбища. Божев приезжал туда верхом на лошади и с кнутом, а доярки, и Айна с ними, в бане не мылись, горячего к обеду не варили и спали от работы мало. Но Айна не горевала, потому что хотела сделать социализм, только чесала под рубашкой ногтями. Божев приезжал на коне, ел пышки из своего мешка и забирал с собой пастухов, - оставил только одного на пятьсот коров с быками. На ночь стадо расходилось без пути, пастух засыпал, а утром плакал нарочно, как будто от страха и горя, потому что в стаде начали пропадать полные красные коровы и являлись худые или мелкие, которые жрали и не росли, - молока же давали по четыре кружки. Именные быки тоже скрылись куда-то, а пришли незнакомые, - они ходили скучные и худые, и совхозные коровы их били, а неизвестные быки молчали. Айна не стала спать, вышла на ночь пасти стадо, ходила в темноте и узнала, что приезжали верховые мужики, пригоняли своих коров с быками и угоняли совхозных. Айна ходила за чужими людьми следом, дошла до степных хуторов и возвратилась. Потом она пошла на гурт за людьми и ружьями, но ее встретил Божев и вернул обратно: "ты, говорит, бежать от стада хочешь, - ты летунья, ты врешь, я сам считаю коров по списочному числу". Когда сосчитал, оказалось верно. Божев изругал Айну: "тебе замуж надо, ты бесишься, все коровы целы, разве ты помнишь все пятьсот коров в морду?"

- Помню, - сказала Айна и побежала из стада на гурт. Божев дал ей время побежать, а потом нагнал и бил кнутом, как летунью, которая срывает планы прокормления рабочих и служащих.

Айна упала, Божев ее взял и привез. Скоро Божев прислал нового пастуха, потому что старый пастух пропал вместе с десятью коровами и маточным быком: новый пастух угонял стадо далеко и приводил его к вечеру без молока. Айна была умная и узнала, что

кулацкие и зажиточные жены выдаивают коров вдалеке. Она тайно добежала до директора Умрищева, но Умрищев сказал ей: "не суйся, работай под выменем, чего ты все бесишься!"

Айна не вернулась в стадо, а пошла в районный комитет партии. К ней пристали еще две подружки-доярки, которые бежали навсегда от жизни в степи, Айна же шла по делу. Божев скакал за ними полдня; доярки прятались, но Божев разглядел их с лошади и опять бил Айну кнутом, как кулацкую девку, которая срывает дисциплину и уводит рабочую силу. Айна говорила ему, что идет выходить замуж за тракториста. Божев же спросил у нее отпускной талон и снова рубцевал, что не было талона. Однако двух других доярок Божев не задержал, и они убежали, - довольные, что спастись, и пропали бесследно. Когда Божев остался с Айной один в пустых местах, он вдруг весь осознал и стал напуганным. От страха смерти, которая достанется ему за порчу батрачки, Божев вдруг полюбил Айну. Он задумал так сильно и искренно обнять Айну, чтобы его любовь дошла к ней до сердца и она бы за все простила ему и согласилась быть женой. Он стал добрым, плакал до вечера у бедного подола Айны, обнимал ее измученные ноги и бегал в истоме по песчаным барханам. Айна все время не давалась ему, потом опять пошла дальше в район. Но Божев вновь достиг ее и шел за ней молча, бросив лошадь, а вечером изувечил ее, когда Айна усталая и измученная легла на землю. Айна схватила Божева за горло, когда была под его тяжестью, и душила его, но сила колотала в горле Божева, он не умер, а сестра Мамеда ослабела и заснула. Наутро Божев оправил оборванную Айну, отыскал лошадь, подпоясал доярку бичевой от своего кнута и повез женщину на гурт, все время искренно лаская доярку за плечи, а встречным людям говорил, что он на ней скоро женится, так как полюбил. Айна стала смиренная; ей дали два выходных дня подряд, и она, обмывшись в бане, ходила с Мамедом по полю и так целовала брата, что плакала от своей жадности и нежности к нему. Потом она сказала Мамеду, как большому, все, что было, и ушла за конфетами в совхозный кооператив. Целую ночь она не приходила, а после ночи увидели, что она висит мертвая на постройке колодца и под ногами у нее лежит кулек с конфетами и зарплата за четыре месяца.

* * *

Божева осудили и увезли в городскую тюрьму. Там его вывели однажды во двор и поставили к ограде, сложенной из старого десятивершкового кирпича; Божев успел рассмотреть эти ветхие кирпичи, которые до сих пор еще лежат в древних русских крепостях, погладил их рукой в своей горести - и вслед за тем, когда Божев обернулся, в него выстрелили. Божев почувствовал ветер, твердою силой ударивший ему в грудь, и не мог упасть навстречу этой силе, хотя и был уже мертвым; он только сполз по стене вниз.

Умрищев же сумел убедить кого-то в районном городе, что он может со временем, по правилам диалектического материализма, обратиться в свою противоположность; благодаря этому, его послали работать в колхоз, ограничившись вынесением достаточно сурового выговора. В колхозе же, расположенном невдалеке от "Родительских Двориков", Умрищев стал поступать наоборот своим мыслям:

как только что надумает, так вспомнит, что его природа - это ведь оппортунизм, и совершит действие наоборот; до некоторого времени названные обратные действия Умрищева имели успех, так что бывшего директора колхозники выбрали своим председателем. Но впоследствии Умрищева ожидала скучная доля, о которой в свое время стало известно всем...

Уезжая, член правления скотоводного треста и секретарь райкома определили гурту "Родительские Дворики" быть самостоятельным мясосовхозом, а директором нового мясосовхоза назначили Надежду Босталоеву, носящую в себе свежий разум исторического любопытства и непримиримое сердце молодости.

В помощницы себе Босталоева взяла Федератовну, а Николая Вермо назначила главным инженером совхоза. Зоотехник Високовский пришел к Босталоевой в землянку и вежливо, тщательно скрывая свою производственную радость, поздравил Босталоеву с высоким постом. Он надеялся, что эволюция животного мира, остановившаяся в прежних временах, при социализме возобновится вновь и все бедные, обросшие шерстью существа, живущие ныне в мутном разуме, достигнут судьбы сознательной жизни.

- Теперь засыпается пропасть между городом и деревней, - сказал Високовский: - коммунистическое естествознание сделает, вероятно, из флоры и фауны земли более близких родственников человеку... Пропасть между человеком и любым другим существом должна быть перейдена...

- Будет еще лучше, - обещала Босталоева. - Самая далекая ваша мечта все равно не опередит перспектив нашей партии... Между живой и мертвой природой будет проложен вечный мост.

Високовский ушел и на совхозном подворьи подхватил и унес к себе своего любимого подсвинка.

Босталоева разобралась в планах и директивах, а затем позвала к себе Вермо и Федератовну.

- Вермо, - сказала она. - В прошлом году "Родительские Дворики" поставили пятьсот тонн мяса, в этом году нам задали тысячу тонн, а поголовье увеличивается процентов на двадцать, потому что мало пастбищ и мало воды...

Вермо улыбнулся.

- Мы должны выполнить, Надежда, - отозвался инженер. - Москва вызывает нас на творчество, нормальной мещанской работой взять такого плана нельзя, - значит, в центре доверяют нашим силам...

- Партия уж слишком любит массы, - сказала Федератовна, - оттого она и ценит так ихний ум. Без ума этот план нам сроду не взять!

- Мы поставим три тысячи тонн говядины, - высказалась Босталоева: - мы не только трудящийся, мы творческий класс. Правда ведь, товарищ Вермо?

Инженер молчал; он воображал великий расчет партии на максимального человека массы, ведущего весь класс вперед, - тот же расчет, который имел сам Ленин перед Октябрем месяцем семнадцатого года.

- Да то, ништ, не правда? - ответила Федератовна. - Уже даже массы жадны стали на новую светлую жизнь: никакого укороту им нету!

Вермо ушел в полярное поле и только что приготовился подумывать о выполнении огромного плана, как ему в лицо подул дальний ветер с запахом горелой соломы. Инженер почувствовал, что этот ветер ему знакомый - ветер не изменился, изменилось и выросло лишь тело Вермо, но и в глубине его тела осталось что-то маленькое неизменное - то, чем вспомнил он сейчас этот теплый ветер, пахнущий дымом далеких печек, второй раз в жизни подувший ему в лицо из дальних мест. Вермо обратился к самому себе и ощутил свое сердце, все более наполняющееся счастьем, - так же, как в детстве тело наливается зреющей жизнью. Когда же дул этот ветер в первый раз в лицо Вермо? Он обернулся на "Родительские Дворики". Там робко дымилась одна печная труба, - это кухонные мужики растопляли кухню для обеда: шло лето, грусть роста и надежды на еще не сбывшееся будущее расстиралась по неровному миру, - это уже чувствовал Вермо когда-то, в свой забытый день. Над "Родительскими Двориками" не хватало мельницы, молотилой зерно: такая мельница была в родном месте Вермо, где он вырос и возмужал. И еще не было в совхозе такого дома, где бы тебя всегда ожидали, - не было отца и матери, - но зато в совхозе была Босталоева, Федератовна, Високовский, а мельницу можно построить... Вермо вспомнил летний день детства на окраине родины - маленького города - и этот ветер, который нес тогда дым жизни далеких и незнакомых людей.

Мельницу же в "Родительских Двориках" надо построить теперь же. Сила ветра будет качать сейчас воду из колодца, а осенью и зимой, когда дуют самые плотные ветры, сила воздушного течения будет отапливать помещения для скота, где целых полгода забнут и худеют коровы. Пусть теперь степной ветер обратится в электричество, а электричество начнет греть коров и сохранит на них мясо, сдуваемое холодом зимы: скучную силу осеннего ветра и зимнюю пургу, поющую о бескрайности жизни, наступило время превратить в тепло, и во вьюгу можно печь блины.

Вечером Вермо сказал Босталоевой, как нужно отопить совхоз без топлива. Босталоева позвала Високовского, Федератовну, кузнеца Кемалья, еще двоих рабочих, и все они прослушали инженера.

Кемаль заключил, что дело ветряного отопления - безубыточное, - он сам думал о том, только не знал электричества, хотел, чтоб ветер вертел и нагревал трением какие-либо бревна или чурки, а чурки тлели бы и давали жар; однако это технически сумбурно.

- А хватит нам киловатт-часов-то? - спросила Федератовна. - Ты амперы-то сосчитал с вольтами? - испытывала старуха инженера Вермо. - Ты гляди, раз овладел техникой!.. А проволоку, шнур и разные частички где ты возьмешь? Мы вон голых гвоздей второй год не допросимся, алебастру, извести и драни нет нигде...

- Я поеду в район, в край и достану все, что нужно, сама, - сказала Босталоева, запечалившись вдруг отчего-то. - Високовский, сколько мы нагоним мяса, если в скотниках будет тепло?..

- Можно телят вынашивать круглый год, - размышлял Високовский. - Весной мы родили две тысячи телят, а теперь будем осеменять коров круглый год - получим минимум три тысячи телят, на добавочную тысячу больше. Это при том стаде, какое у нас есть...

Далее Високовский сделал расчет на бумаге; он сообразил, сколько дадут товарного мяса добавочные телята, на сколько самое меньшее пополняют, благодаря теплу, взрослые животные, - и выразил цифру: 300 тонн чистого живого мяса, не считая громадной прибавки молока и масла от улучшения бытовых условий.

- Почти двадцать вагонов! - обрадованно произнесла Босталоева. - Мы это сделаем, товарищ Вермо! Бабушка, ты будешь бригадиршей на постройке... Бабушка, возьми по-старинному, когда великаны жили, говорят...

- Обожди, девчонка! - осерчала Федератовна. - Великаны были только сильны, а по уму любой цыпленок норовистей их. Обождите, вам говорят!.. Если на небе тихо, а на дворе мороз в тридцать градусов по Реомюру, в тридцать семь по Цельсию: вы тогда - что?!

Вермо выдумал быстрее, чем кончила Федератовна.

- Мы, бабушка, из коровьих лепешек брикетов наделаем в запас. Пусть Кемаль сделает деревянный пресс для обжима и брикетирования коровьих лепешек...

- Я уж ему двенадцать раз говорила, дураку, - сказала Федератовна. - Лежит зимой добро по всему гурту, а скот зябнет...

- Мне оппортунист Умрищев не велел, - оправдался Кемаль. - Я несколько раз докладывался: пора, говорю, нам заготовить деревянный блюминг, что ж это такое? - Коровы ведь зарождают в туловище не одно молоко с мясом, а и топку! Давай, говорю, мне двух плотников и слесаря на помощь - я тебе из коров Донбасс сделаю, я тебе из коровьего желудка центральное отопление поставлю...

- Кто будет крутить нам брикетный пресс? - спросил Вермо.

- Два вола, - сообщил Кемаль.

- Нет, ветер, - не согласился инженер: - не тратьте животных, живите за счет мертвой природы.

- Я люблю вас, гражданин Вермо, - произнес Високовский.

- Ветер лучше, - согласился Кемаль. - Пресс можно крутить, когда ветряк не нужен для тепла.

Федератовна, хоть и была довольна, но не очень - она требовала от Вермо, чтоб он составил проект с экономической стороны, а она его проверит со всех точек: старуха была настолько скупа и осторожна в отношении социализма, что даже для верного друга требовала предосудительного контроля, - мало ли совершается в советском мире расточительства, благодаря действию слишком радостных чувств?

Вермо согласился составить проект, а Федератовна пошла заботиться по советскому мясному хозяйству; она уже полгода как не спала, только дремала на заре, объясняя это тем, что она уже старая и ей было достаточное время выспаться при империализме.

Под вечер старуха села в совхозную таратайку и поехала по всем пастбищам, по всем стадам, наживавшим себе тело в степях, и когда развернулась ночь, то все еще гремела в пространстве таратайка Федератовны, - этот звук старушечьей езды наводил жуть на нерадивых гуртоправов, потому что невозможно было что-либо скрыть от бессонной специальной бдительности Федератовны, умудренной хитростью классового врага. Даже лучшие доярки вздрогнули, когда узнали, что старуха стала помощником директора. Покой-

ница Айна давала больше всех работы - она выдаивала по 190 литров молока в сутки, при норме в 125, бабушка же однажды просидела в степной ферме трое суток и надоила 700 литров.

- Сучки-подкулачницы, - сказала тогда Федератовна двум бабам-лодырям. - Только любите, чтоб вам груди теребили, а до ковых грудей у вас охоты нет...

Она помнила всех выдающихся коров в совхозном поголовьи, а быков знала лично каждого. Проезжая сквозь жующие стада, старушка всегда сходила с экипажа и бдительно осматривала скотину, особенно быков - их она пробовала кругом, даже вниз к ним заглядывала: целые и здоровы ли у производителей все части жизни.

Сейчас уж далеко звучала таратайка Федератовны и удалялась все более скоро, потому что старуха совала рукой в кучера и пилила его сзади своими словами.

В эту ночь, когда поднялась луна на небе, животные перестали жевать растения и улеглись на ночлег по балкам и понизовьям, напившись воды у колодцев; несъеденная трава тоже склонилась к низу, утомившись жить под солнцем, в смутной тоске жары и бездождья. В этот час Босталоева и Вермо сели верхами на лошадей и понесли, обдаваемые теплыми волнами воздуха, по открытому воздушному пространству земного шара...

Забвение охватило Вермо, когда скрылось из глаз все видимое и жилое и наступила одна туманная грусть лунного света, отвлекающая ум человека в прохладу мирной бесконечности, точно не существовало подножной нашей земли. Не умея жить без чувства и без мысли, ежеминутно волнуясь различными перспективами или томясь неопределенной страстью, Николай Вермо обратил внимание на Босталоеву и немедленно прыгнул на ее коня, оставив своего свободным. Он обхватил сзади всю женщину и поцеловал ее в гущу волос, думая в тот же момент, что любовь - это изобретение, как и колесо, и человек, или некое первичное существо, долго обвыкался с любовью, пока не вошел в ее необходимость.

Босталоева не сопротивлялась, - она заплакала; обе лошади остановились и глядели на людей.

Вермо отпустил Босталоеву и пошел по земле пешком. Босталоева поехала шагом дальше.

- Зачем вы целуете меня в волосы? - сказала вскоре Босталоева. - У меня голова давно немытая... Надо мне вымыться, а то я скоро поеду в город - стройматериалы доставать.

- Стройматериалы дают только чистоплотным? - спросил Вермо.

- Да, - неясно говорила Босталоева, - я всегда все доставала, когда на главной базе работала... Вермо, сговоритесь с Високовским, составьте смету совхозного училища: нам надо учить рабочих технике и зоологии. У нас не умеют вырыть колодца и не знают, как уважать животных...

Но Вермо уже думал дальше: колодцы же ветхость, они ровесники происхождению коровы как вида: неужели он пришел в совхоз рыть земляные дыры?

К полуночи инженер и директор доехали до дальнего пастбища совхоза - самого обильного и самого безводного. После того пастбища - на восток - уже начиналась непрерывная пустыня, где в скудной жаре никого не существует.

Худое стадо, голов в триста, кочевало на беззащитном выпускном месте, потому что нигде не было ни балки, ни другого укрытия в тишине рельефа земли. Убогий колодец был серединой ночующего гурта, и в огромном пойловом корыте спал бык, храпя поверх смирившихся коров.

Редкий ковыль покрывал здешнюю степь; при этом много росло полыни и прочих неприцевых, бедных трав. Из колодца Вермо вытащил на проверку бадью - в ней оказалось небольшое количество мутной воды, а остальное было заполнено отложениями четвертичной эпохи - погребенной почвой.

Почуяв воду по звуку бадьи, бык проснулся в лотке и съел влагу вместе с отложениями, а ближние коровы лишь терпеливо облизили свои жаждущие рты.

- Здесь так плохо! - проговорила Босталоева с болезненным впечатлением. - Смотрите, - земля, как засохшая рана...

Вермо с мгновенностью своего разума, действующего на все коренным образом, уже понял обстановку.

- Мы достанем наверх материнскую воду. Мы нальем здесь большое озеро из древней воды - она лежит глубоко отсюда в кристаллическом гробу!

Босталоева доверчиво поглядела на Вермо: ей нужно было поправить в теле это дальнее стадо, и кроме того, Трест предполагал увеличить стадо "Родительских Двориков" на две тысячи голов; но все пастбища, даже самые тощие, уже густо заселены коровами, а далее лежит умершее пространство пустыни, где трава вырастет только после воды. И те пастбища, которые уже освоены, также нуждаются в воде, - тогда бы нормы утроились, скот не жаждал, а полумертвые ныне земли покрылись бы влажной жизнью растений. Если брикетирование навоза и пользование ветром для орошения даст триста тонн мяса и двадцать тысяч литров молока, то откуда получить еще семьсот тонн мяса для выполнения плана?

- Товарищ Босталоева, - сказал Вермо, - давайте покроем всю степь, всю Среднюю Азию озерами ювенильной воды! Мы освежим климат и на берегах новой воды разведем миллионы коров! Я сознаю все ясно!

- Давайте, Вермо, - ответила Босталоева. - Я любить буду вас.

Оба человека по-прежнему находились у колодца, и бык храпел возле них. К колодцу подошел пастух. Он был на хозрасчете. У него болело сердце от недостачи двух коров, и он пришел поглядеть - не чужие ли это люди, которые могут обменять коров или выдоить их, тогда как он и сам старался для лучшей удойности не пить молока.

Вермо в увлечении рассказал пастуху, что внизу, в темноте земли лежат навеки погребенные воды. Когда шло создание земного шара, и теперь, когда оно продолжается, то много воды было зажато кристаллическими породами и там вода осталась в тесноте и покое. Много воды выделилось из вещества, при изменении его от химических причин, и эта вода также собралась в каменных могилах в неприкосновенном, девственном виде...

- Ну как засиделая девка в шалаше, - обратно объяснил пастух инженеру: - выпусти ее, она тебе сразу рожать начнет, из нее так и посыпется.

Вермо не услышал: он заметил, как дрожали первичные волны рассвета на востоке, и мучил в темноте своего сознания зарождающуюся, еле живую мысль, еще неизвестную самой себе, но связанную с рассветом нового дня. Однако опершись рукой на спящего быка, Вермо уже приобрел другую догадку: не пришла ли пора отойти от ветхих форм животных и завести вместо них социалистические гиганты, вроде бронтозавров, чтобы получать от них по цистерне молока в один удой?

На обратном пути Вермо погрузился в смутное состояние своего безостановочного ума, который он сам воображал себе в виде низкой комнаты, полной табачного дыма, где дрались, оборвавшиеся от борьбы, диалектические сущности техники и природы. Не было того естественного предмета или даже свойства, судьбу которого Вермо уже не продумал бы навеки вперед; поэтому он и в Босталоевой видел уже существо, окруженное блестящим светом социализма, светом таинственного летнего дня, утонувшего в синеве своих лесов, наполненного чувственным шумом еще неизвестного влечения.

Когда же Вермо глядел на конкретный вид Босталоевой и на других ныне живущих людей, вырывающихся из мертвого мучения долготы истории, то у него страдало сердце и он готов был считать злобу и все ущербы существующих людей самым счастливым состоянием жизни.

* * *

Возвращаясь среди утренней зари на "Родительские Дворики", Вермо и Босталоева встретили бригаду колхозников, и Босталоева велела колодезному бригадиру прийти вечером к инженеру Вермо, чтобы решить вопрос о добыче подземных морей.

Молодой бригадир Милешин невнимательно потрогал ногу Босталоевой, сидевший на лошади, и ответил:

- Товарищ директор. Прошлый год было постановление районного съезда о бурении на глубокую воду. Я тогда докладывал, и моя речь транслировалась по радио на все колхозы-совхозы. Я добился, как факт, что у нас нет воды, ее не хватит социализму, - у нас только есть одна сырость, один земляной пот... Я вечером приду.

Босталоева сняла шапку с бригадира гидротехников и пошевелила ему волосы.

Далее инженер и директор поехали по малоизвестной ближней дороге, и вскоре им представился странный вид земли, будто оба человека очутились в забытом сне: пространство лежало не в ширину, в толщину, и всюду были такие мощные взбугрения почвы, что делалось скучно и душно в мире, несмотря на окружающую прелесть свежего дня.

"Надо использовать тяжесть планеты! - заботливо решил Вермо, наблюдая эту толщину местной земли. - Можно будет отапливать пастушьи курени весовой силой обвалов или варить пищу вековым опусканием осадочных пород..."

Жалкий человек с большой бородой стоял невдалеке на толстой земле и читал книгу при восходящем солнце. Простосердечный Вермо решил, что тот человек полюбил теорию и думает вероятно о

пролетарской космогонии, наблюдая одновременно солнце в упор. Но Босталоева сразу рассмеялась:

- Это Умрищев, - сказала она. - Он думает, что тут было при Иване Грозном: не лучше ли?

И действительно, то стоял в глубоком размышлении Умрищев, держа ветхую книгу в руках. Он небрежно глядел в сияющую природу и думал о чем-то малоизвестном; лицо его слегка похудело, но зато густо обросло волосом и в глазах находилось постоянное углубление в коренные вопросы человеческого общества и всего текущего мироздания.

Он не заинтересовался конными людьми, - ответил только на привет Вермо и дал необходимое разъяснение: что колхоз его отсюда не виден - виден лишь дым утренних похлебок, что сам он там отлично колхозирует и уже управился начисто ликвидировать гнусную обезличку, и что теперь он думает лишь об усовершенствовании учета: учет. - Умрищев вдруг полюбил своевременность восхода солнца, идущего навстречу календарному учтенному дню, всякую цифру, табель, графу, наметку, уточнение, талон, - и теперь читал на утренней заре Науку Универсальных Исчислений, изданную в 1844 году и принадлежащую уму барона Корфа, председателя Общества Поощрения Голландских Отопленных. Одновременно Умрищев заинтересовался что-то принципиальной сущностью мирового вещества и предполагает в этом направлении предпринять какие-то философские шаги.

Босталоева скучно и гневно поглядела на Умрищева и пустила лошадь в сильный бег; эта женщина не верила в глупость людей, она верила в их подлость.

Вермо оглянулся издали на Умрищева - все так же стоял человек на толстой земле, вредный и безумный в историческом смысле. Вермо сейчас же предложил Босталоевой собрать все районные невыясненные и подопытные личности в одно место и поставить производство исторического идиотизма в крупном, или хотя бы полузаводском масштабе, - с тем, чтобы заблаговременно создать для будущих поколений памятники последних членов отживших классов; Умрищев ведь тоже хотел, как нравственная и разумно-культурная личность, быть занесенным в список штатных единиц истории!

Босталоева ответила, что поучительные памятники следует устраивать после гибели враждебных существ, - теперь же нужно заботиться только об их безвозвратной смерти. Вермо наклонился с седла, чтобы лучше разглядеть классовое зло на лице Босталоевой, но лицо ее было счастливым и серые глаза были открыты как рассвет, как утреннее пространство, в котором волнуется электромагнитная энергия солнца.

Вермо почувствовал эту излучающуюся силу Босталоевой и тут же необдуманно решил использовать свет человека с народно-хозяйственной целью; он вспомнил про электромагнитную теорию света Максвелла, по которой сияние солнца, луны и звезд и даже ночной сумрак есть действие переменного электромагнитного поля, где длина волны очень короткая, а частота колебаний в секунду велика настолько, что чувство человека скачет от этого воображения. Вермо вспомнил далее первичную зарю сегодняшнего дня, когда свет напрягался на востоке и слабел от сопротивления бесконечности, наполненной мраком, - и Вермо, опершись тогда на быка, утратил

в темноте своего тела пробуждавшееся рациональное чувство освещенного неба...

И сейчас еще Вермо не знал, что можно сделать из небесного света.

- Товарищ Босталоева, - сказал он, - дайте мне руку...

Босталоева дала ему свою опухшую от ветра и работы руку, и оба человека проехали некоторое время со сдвоенными руками, причем Вермо жал руку женщины, помогая этим не страсти, а размножению, - у него даже остыло все тело, теплота которого ушла на внутреннюю силу задумчивости.

Вскоре показалось расположение "Родительских Двориков", беспомощное издали, особенно если сравнить с Двориками небесное пространство, напряженное грозной и безмолвной электромагнитной энергией солнца.

* * *

К ночи Босталоева назначила производственное совещание.

Колодезный бригадир Милешин, зоотехник Високовский, инженер Вермо, Федератовна, кузнец Кемаль, пять гуртоправов (потому что совхоз состоял из пяти участков) и старший пастух Климент, выбранный, как природный практик, председателем производственного совещания, присутствовали на этом собрании уже загодя. Повестка дня состояла из вопросов переустройства всего мясного хозяйства, ради того, чтобы произвести говядины в совхозе не тысячу тонн, как задано планом, а две тысячи; далее следовало задуматься над пастбищами для прокорма новых двух тысяч коров и сорока быков, о которых в дирекции получено письмо, что они гонятся пешим шагом из соседнего района - отсюда полтора верста.

Как только опустилась вечерняя заря, так приехала и Босталоева из степи, закончив где-то свои дневные заботы.

Климент, глядя на солнце привычными глазами, сказал заседанию, что пора уж хозяйски думать о социализме, чтоб в степи было все экономично и умело.

- Во мне, вот, лежит большевистский заряд, - сказал Климент. - А как начну им стрелять в свое дело, так выходит кой-что мало... Ты скотину напитаешь во как, я сам траву жую, прежде чем скотину угощаю, а отчет мне показывает - по молоку недоборка, а по говядине скотина рость перестала!.. На центральном гурте взяли сорок рабочих всякого пола из колхоза, по сговору, - мне два помощника, два умных на глаз мужика досталось. Что ж такое?! Ходят они, бушуют и стараются - я сам на них пот шупал, - а все на моем гурте как было плохо, так стало еще хуже... Не досмотрю сам - скотина стоит в траве голодная, а не ест непоенная! А мужики мои аж скачут от ударничества, под ними воды бегом бегут, а куда - неизвестно, кликнешь - они назад вернуться, прикажешь - тужатся, проверишь - проку нету. Это что такое, это откуда смиренное охальство такое получается? Злой человек - тот вещь, а смиренный же - ничто, его даже ухватить не за чего, чтобы вдарить!..

- У нас классовая борьба, - тихо сказала Босталоева.

- Да-то что ж! - сразу согласился Климент. - А то не она, что ль?

- Откуда твои мужики-то, дурак бесхарактерный? - спросила Федератовна. - Из какого этого колхоза тебе помощь дали?

- А из того, матушка старушка, где наш прошлый директор книги читает. Он там мужикам какую-то слабость организовал и говорит, чтоб никто не горевал, потому что все на свете есть электрон, который никуда не денется, хоть вся диктатура иди против него. Теперь там зажиточное население всех про электрон спрашивает: каждый хочет электроном стать, а как - не знают...

- Вермо, - обратилась Босталоева, - поезжайте, пожалуйста, с Федератовной в колхоз к Умрищеву и объясните ему, что такое электрон. Теперь давайте обсудим зимнее отопление коровников.

Собрание вступило в это обсуждение, а Високовский вручил Босталоевой бумагу, где описывалось суточное положение совхоза, здоровье скота, отгон масла из молока - и между прочим отмечалась последняя пропашка восьми коров и смерть двенадцати голов телят. Босталоева с терпеливым сердцем прочитала бумагу; она знала, что надо беречь свою ненависть, чтоб ее хватило до конца классового врага.

Собрание приняло решение строить ветряное отопление и рыть землю вглубь, вплоть до таинственных девственных морей, дабы выпустить оттуда сжатую воду на дневную поверхность земли, а затем закупорить скважину, и тогда среди степи останется новое пресное море - для утоления жажды трав и коров.

Ввиду дальности и безвестности ювенильной воды Вермо предложил прожигать землю вольтовой дугой, которая будет плавить кристаллические толщи и входить в них, как нож в тесто.

Федератовна, по своей скупости на социалистические средства, не велела было этим заниматься, но Вермо объяснил ей, что глубокое бурение электрическим пламенем безусловно является событием всемирно-исторического значения, и старушка, улыбаясь щербатым ртом, согласилась, так как была слаба на славу. Вслед затем собрание начало думать, - куда поместить новые две тысячи коров, и Вермо выдумал уже было кое-что, ничего не выдумывать он не мог: он бы разрушился от напора личной жизни, - но Кемаль, с мгновением столь же оживленного разума, предложил резать плиты в ближайшем месторождении известкового камня и строить из этих плит скотные жилища.

- Резать камень надо не железом, а электрическим огнем: двое рабочих могут заготовить и сложить тысячу скотомест! - враз сообщил Вермо.

- Хорошо сказал! - обрадовался Кемаль и тут же сказал еще лучше: - А соединять плиты друг с другом мы будем электрической сваркой - такой же вольтовой дугой, которой мы нарежем плиты в карьерах!..

Вермо вытер заслезившиеся от восторга глаза и встал на ноги, будучи рад всеобщей радостью.

- Вы забыли про коровьи брикеты, - напомнила Босталоева; ее глаза побелели от усталости, она наклонилась на свои руки и потеряла во сне сознание.

Проснулась она уже поздно ночью в своей комнате и сразу велела запрягать лошадь, чтобы ехать до железной дороги и выспаться в степной повозке.

Босталоева решила немедленно достать в краевом центре стройматериалы и оборудование и построить до зимы новые коровьи помещения, а также отопительный ветряк с динамо-машиной и пресс для брикетирования коровьих лепешек. Что касается девственных морей, то Босталоева задумала поступить в городе в институт и учиться заочно, с тем чтобы самой стать инженером и проверить проект Вермо; а сейчас начать эту работу она стеснялась, потому что не понимала еще внутреннего устройства земного шара и не видела ни разу вольтовой дуги. Был еще один трудный выход: перевыполнить вдвое-втрое план, получить премию и добиться согласия всех рабочих совхоза приобрести на премиальные деньги машину для бурения земли электрическим огнем. Что мешало этому?

В совхозе играла хроматическая гармония; это Вермо выдумывал музыку - он чаще всего играл свои текущие сочинения и сразу же их забывал.

Вокруг совхозного поселения лежала неизвестная тьма, укрыв дальние и незащищенные стада; еще далее тех стад были колхозы, деревни, бывшие уездные города - тысячи дружелюбных и ненавидящих людей; советские коровы сейчас лежали у водопоев, быки храпели, и равнодушные пастухи варили себе что-нибудь на ночь, чтобы не скучать от голода во сне... Только десятая часть пастухов были коммунистами, которые старались спать днем, и то поспенно, а ночью они ходили во тьме с открытыми глазами. Если каждые сутки будет исчезать по восемь коров, то сколько можно отправить мяса в Донбасс и в Сталинград?

Босталоева сложила в чемодан два запасные платья, ведомость потребных стройматериалов и оборудования, белье, поглядела на себя в зеркало и села на кровать в одиночестве. "У меня ведь нет родственников! - вспомнила она. - Была одна сестра, но мы забыли писать письма друг другу!.. Не забудь узнать в Ветеринарном институте, - Високовский не напомнил мне, - как добывают семя из мочи для искусственного оплодотворения... Вермо! Я хочу выйти замуж за тебя при социализме; а может быть, расхочу еще!"

Вермо в тот час играл, как он думал, сонату о будущем мире: в виде выдуманных им звуков ходили по благородной земле гиганты молока и масла - живые существа, но с некоторыми металлургическими частями тела, дабы лучше было уберечь их от болезней и обеспечить постоянство продуктивности; например, - пасть была стальная, кишечник оперирован почти начисто (против заболеваний от разложения кала), а молочные железы должны иметь электромагнитное усовершенствование. Свободные доярки и рабочие слушали музыку Вермо и его разъяснения о значении исполняемой музыки, и тогда только верили, что это так.

Босталоевой подали повозку. Она вышла в дорожном плаще, ее черные волосы блестели от света через окно, и ей стало страшно уезжать из совхоза, когда он остается один во тьме.

Она позвала Федератовну, велела ехать ей завтра вместе с Вермо в умрищевский колхоз, увидеть все, что следует, и если нужно - поставить в райкоме вопрос о немедленной ликвидации остатков кулачества и об удалении из района мясосовхоза всех буржуазных, жестких элементов, иначе хозяйство вести нельзя.

- Я заеду сама в райком, - сказала Босталоева. - Проверьте лучше электрон Умрищева: по-моему, это его новый политический лозунг.

- С Умрищевым я одна управлюсь, - высказалась Федератовна: - электрон я знаю что такое, меня физике научили, это такая частичка, а лозунги я чувю даже, когда сам оппортунист молчит про них! Поезжай, девочка, - наган не забудь взять!

Вермо опечалился. Дерущиеся, диалектические сущности его сознания лежали от утомления на дне его ума.

- Надежда Михайловна, - произнес Вермо, - я ехал с вами утром и увидел на небе электромагнитную энергию! Нам нужно сделать оптический трансформатор - он будет превращать пульсацию солнца, луны и звезд - в электрический ток. Он будет питаться бесконечным пространством, он...

- Да остановись ты думать ради человека-то, - обиделась на Вермо Федератовна. - Человек уезжает, а он бормочет - голову ей забивает. Девке и без тебя есть забота: иль мы сами физики не знаем, один ученый какой! Что ты, при капитализме, что ли, живешь, когда одни особенные думали!

- До свиданья, Вермо, - подала руку Босталоева: - Делайте пока земляные работы, а я привезу оборудование...

С теми словами Босталоева уехала в темноту, в далекий краевой город.

* * *

В одно истекшее летнее утро повозка Надежды Михайловны Босталоевой - директора мясосовхоза "Родительские Дворики" остановилась в селе у районного комитета партии. Различные партийцы расположились кругом комитета на раннем солнце; многие спали с омертвевшими впадинами глаз, другие говорили что-то и глядели в широту пространства, где было много положено их молодости и силы и где сейчас уже стлался газ тракторов, блестел тес новостроек, шли на работу бригады людей, - пустоту и скорбь капитализма сменял многолюдный социализм.

Секретарь райкома спал: он лег в постель не далее двух часов назад, потрудившись всю ночь. Босталоева не хотела ждать и вошла в комнату спящего секретаря. Он открыл глаза и узнал ее сразу, потому что все время помнил о ней и втайне ожидал ее, хотя и не имел никакой сладкой надежды.

Босталоева сообщила свою просьбу; секретарь лежа прослушал ее, не понимая вначале ничего. Она ему нравилась, как соучастница в мучительной классовой борьбе, как товарищ по непрерывной работе и как женщина, не имеющая никакого тайного личного наслаждения, так же, как и сам секретарь.

- Про умрищевский колхоз мы уже знаем кое-что, - сказал секретарь в ответ. - Вчера мы постановили на бюро проверить положение колхозов вокруг твоего совхоза и выжечь остатки кулачества.

Босталоева попрощалась с секретарем и уехала. Секретарь райкома засмотрелся ей вслед с крыльца дома - ему стало жалко, что она уезжает; все люди, которых он наиболее любил, постоянно были невидимы: находились вдалеке, поглощались трудом, исчезали

из дружбы - и нужно ждать еще пять или десять лет, чтобы наступил коммунизм, когда механизмы вступят в труд и освободят людей для взаимного увлечения.

В краевом городе Босталоевой негде было остановиться. Все гостиницы давно наполнились безвыездными инженерами и квалифицированными рабочими Ленинграда и Москвы. Босталоева попала в город в ту пору, когда в нем почти не было приюта, потому что буржуазно-семейные убежища строители снесли в прах, а новые светлые сооружения еще не просохли для вселения.

Тогда Босталоева поселилась в том учреждении, где она хотела достать стройматериалы: ей пошел навстречу местком, который отвел ей для ночлега свою комнату и дал зеркальце, как члену союза и женщине. Ночью Босталоева открыла окно из месткома и засмотрелась в освещенное, гремящее строительство заводов, улиц и жилых домов. В учреждении было темно: молча лежали архивы, скрывая в бумагах бюрократизм, вредительство, бред мелких исчезающих классов и воодушевленный героизм. Босталоева прошла по коридорам гулкого учреждения, потрогала папки в шкафах и серьезно задумалась в скучной пустоте канцелярий.

Вывмывшись в ванне, которая вполне разумно была приурочена к какому-то кабинету, Босталоева переделалась в чистое белье и легла спать на столе месткома, слушая через открытое окно шум ночной работы, голоса людей, смех женихов и невест, завыванье напряженных машин, гудки транспорта, песни сменившихся красноармейских караулов, - весь гул большевистской жизни.

Она заснула успокоенная и счастливая, не услышав, как во второй половине ночи по ней ходили крысы.

Наутро Босталоева пошла ходатайствовать о бревнах, гвоздях, о динамо-машине, о проволоке и о железных частях для прессы, который должен сжимать коровье кало и делать из него топливные брикеты.

В большом зале учреждения стоял гул от умственной работы, сотни усердных служащих соображали о снабжении тысячи строительных и беспрерывно бились на плановом поприще с представителями мест, употребляя чай в промежутках труда.

В углу того зала сидел молодой еще, но уже поседевший ответственный исполнитель по разнарядке стройматериалов: он уныло глядел в чад пространства своего учреждения, не видя возможности удовлетворить самым необходимым даже ударные строительства и спецработы.

Босталоева подошла к нему.

- Мне нужен ящик гвоздей, - сказала она.

Исполнитель улыбнулся и отечески-ответственно сообщил ей:

- Голубушка моя, мне гвоздей нужно десять тысяч тонн!.. Вы откуда?

Босталоева уселась и с задушевностью надежды рассказала исполнителю всю нужду своего совхоза. Когда она говорила, к исполнителю подошли еще посетители и местные служащие; все они слушали женщину и явно улыбались над ее просьбой о внеплановом снабжении, но сам исполнитель был грустен.

- На весь ваш район мы дали пол-ящика гвоздей: возьмите оттуда себе горсть, - сказал исполнитель, привыкнув к строительному страданию.

Все люди, бывшие близко, удовлетворенно засмеялись: они пришли по делам планового снабжения и действовали не на основе искренности, а посредством высшего комбинирования.

- Вы сволочь! - произнесла Босталоева. - Дайте мне ваш важный план, я выдумую вам гвозди!

Ответственный исполнитель сначала составил акт об оскорблении себя в присутствии свидетелей, а затем дал ей план, поскольку это было его обязанностью.

Босталоева рассмотрела всю разверстку гвоздей, и ей жалко стало каждое строительство, потому что каждое строительство проходило жадно и каждому давалось мало, - она не могла указать, кого надо обездолить, чтобы совхоз получил гвозди. В конце ведомости было четыре тонны проволоки-катанки, назначенной в контору оргтары для опытной увязки.

Босталоева пошла к начальнику учреждения с плановой ведомостью в руках; начальник, оголтелый от голода на стройматериалы, сидел среди чада в своем кабинете, окруженный многолюдством ходатаев по делам. Его убеждали, перед ним открывали очаровательные перспективы пускового чугунного завода, если только начальник даст гвоздей, ему угрожали карами вышестоящих инстанций и его угощали экспортными папиросами; начальник глядел в воздух сквозь дремоту своей усталости и, тайне радуясь, полагал про себя: "старайтесь, крутитесь, черти, - ничего я вам не дам: учитесь изобретать и находить подкожные ресурсы!"

Заметив неслужбное лицо Босталоевой, начальник сразу подошел к ней и вник в ее дело. Босталоева предложила начальнику отдать ей полтонны катанки, а она, вместо катанки, сделает в совхозе опытную увязку из соломы и пришлет ее орг-таре.

Начальник учреждения, пожилой рабочий, вдруг потерял свою дремоту и ясными глазами оглядел всю Босталоеву:

- Тебе сколько - полтонны нужно? - спросил он. - Возьми себе все четыре, ты из них дело сделаешь... Горюнов! - крикнул он ближайшему секретарю. - Снять катанку с орг-тары, перенарядить ее "Родительским Двориком"! Поставь вопрос об этой орг-таре перед РКИ, пускай ей шерсть там опалят: надо показать мерзавцам, что металл бывает горячий. - Верещасный! - провозгласил начальник поверх гула учреждения в сторону ответственного исполнителя: - зайди ко мне после занятий, я тебя, может, уволю за проволоку...

В тот же день Босталоева отправила три тонны катанки на совхоз, а одну тонну оставила на складе; затем - уже к вечеру - она явилась на гвоздильный завод и попросила директора нарубить ей из проволоки гвоздей.

- А за что мне их вам рубить? - сказал директор. - За ваши глаза?

- Да, - ответила Босталоева, и посмотрела на него своими обычными глазами.

Директор глянул на эту женщину, как на всю федеративную республику, - и ничего не сумел промолвить: сколько он ни отправлял в республику продукции, выгоняя промфинплан до полутораста процентов, республика все говорила - мало даешь - и сердилась. И теперь стояла перед ним эта женщина, требовательная, как республика, и так же лишенная пока богатых фондов и особой прелести.

- Разве поцеловать мне вас за гвозди! - улыбнулся директор.

- Ладно, - согласилась Босталоева.

Директор с удивлением почувствовал себя всего целиком, - от ног до губ, - как твердое тело и даже внутри его все части стали осязательными, - до этого же он имел только одно сознание на верху тела, а что делалось во всем его корпусе - не чувствовал.

- А вы не обидитесь? - спросил директор, бдительно наблюдая кабинет: нигде не слышно было шагов, телефон молчал, вентилятор гудел ровно, как безмолвный.

- Не обижусь, - ответила Босталоева, - потому что я привыкла... Прошлый год я достала кровельное железо, мне пришлось за это сделать аборт. Но вы, наверно, не такая сволочь...

- Нет, - спокойно сказал директор, садясь на место. - Где ваша катанка: вечером я сам стану за автомат, вы подождете десять минут и получите свои гвозди... Везите катанку сюда.

Директор равнодушно опустил голову к текущим делам. Босталоева сама подошла к нему и поцеловала его - таким способом, что впоследствии, когда Босталоева уже ушла, директор ходил в уборную глядеться в зеркало - не осталось ли чего на его лице от этой женщины, потому что он все время чувствовал какой-то лишний предмет на своих губах.

Вечером Босталоева получила гвозди на заводе. Директор сам вывез ей из цеха четыре ящика на электрокаре и взял расписку в получении продукции. Босталоева отправила гвозди на вокзал и пошла ночью, под взошедшей слабой луной, по новостроющимся гремящим улицам. Она читала вывески неизвестных ей организаций - "Химрадий", "Востокогаз", "Электробюро высоких напряжений", "Комиссия воздуходувок", "Контора тяжелых фундаментов", "НТО изучения вибрации прумустановок", "КрайВЭ0" и т.п. - и была рада, что таинственные, мутные и нежные силы природы действуют в рядах большевиков, начиная от силы тяжести и кончая нежной вибрацией и электромагнитной волной, трепещущей в темной бесконечности.

Окна "КрайВЭ0" были освещены; девушки-техники работали, склонившись над чертежными досками; молодой инженер, поседевший от бурной технической жизни, проверял на логарифмической линейке расчеты техников и показывал изуродованным рабочим пальцем в просчеты и ущербы чертежей.

Босталоева прислонилась лицом к оконному стеклу и долго смотрела на своих ровесниц и товарищей. Лунная ночь шла в легком воздухе, летние сады и травы по-прежнему произрастали на земле, но они были почти безлюдны теперь, как отжившее явление, никто не гулял по ним в праздности настроения.

Босталоева вошла в КрайВЭ0, подумала в недоумении про свою долю и попросила динамо-машину в сто лошадиных сил у заведующего сектором снабсьбата. Заведующий ничего не сказал в ответ Босталоевой, только посмотрел куда-то мимо нее - в страну электрического голода. Босталоева прошла в своем мучении, что нету машины, по нагретым, освещенным горницам учреждения, и ей понравился глубокий труд технической науки. Одна чертежница миловидно улыбнулась Босталоевой; Босталоева тотчас же заметила эту человечность и, склонившись над чертежной доской, две женщины поговорили, как подруги: одна скучала по ребенку, ожидавшему мать

до полночи в запертой комнате, другая хотела динамо-машину. По утрам та чертежница занималась в Чертежно-конструкторском институте, а после, не заходя домой, сразу поспевала на работу; ночью же она старалась меньше спать, чтобы больше видеть своего ребенка. Босталоева обещала чертежнице приходить в ее комнату с вечера и заниматься с ребенком, пока возвратится мать.

На другой день Босталоева так и сделала, переселившись в жилище чертежницы на время командировки. Она рисовала четырехлетнему мальчику коров и солнце над ними, она изобразила партийную умную старушку Федератовну, потом быка, коровью драку у водопоя, одинокий мальчик смотрел и слушал эти факты с пользой и удивлением. Наконец пришла мать, которая долго не давала спать ребенку, и с подробностью рассказала ему, что она делала в долгий день, и про динамо-машину, которую она начала чертить в Институте с натуры.

Босталоева сразу же узнала от матери-чертежницы, что это - большая динамо-машина, - она давно стоит в аудитории как чертежная модель, но сколько в ней сил, неизвестно: завтра чертежница обещала списать табличку-спецификацию.

Утром Босталоева пошла в то учреждение, где она впервые стала на ночлег, и там ей дали повестку, чтоб она явилась днем в нарсуд - как ответчица по делу о названии сволочью государственного служащего.

Рабочий судья прочитал вслух перед лицом интересующегося народа дело Босталоевой и вдруг дал свое заключение: ответчицу оправдать и вынести ей публичную благодарность за бдительность к экономии металла, а истца-служащего признать действительной сволочью и предать наказанию, как негодную личность. Народ вначале было озадачился, но потом обрадовался суждению судьи; истец же наклонил лицо и публично опозорился, впредь до особых заслуг перед рабочим классом.

Из камеры суда Босталоева ушла, как артистка, - под звуки всеобщих приветствий, и сам судья воскликнул ей: "до свиданья, приходите к нам еще выявлять эти элементы!"

Была еще середина дня, шло жаркое лето и время пятилетки. Заботливая тревога охватила сердце Босталоевой, когда она осталась среди краевого города, - с жадностью глядела она на доски и бревна построек, на грузовики с железными принадлежностями, на провода высокого напряжения, - она болела, что в ее совхозе много одной только природы и нет техники и стройматериалов. Еще Босталоева страдала о том, что мало будет мяса для гремящего на постройках пролетариата, если даже "Родительские Дворики" дадут две тысячи тонн, - и ей надо поскорее маневрировать.

Босталоева зашла в Институт к подруге-чертежнице и увидела старую динамо-машину, с которой студентки чертили детали. Она прочитала на неподвижной машине надпись, что в ней 850 ампер, 110 вольт, но не знала - сильно это или слабо. Выйдя из Института, она написала телеграмму Вермо, что машина есть, но в ней 850 ампер и по ней учатся черчению молодые кадры: как же быть?

Ночью инженер Вермо прислал Босталоевой ответную телеграмму: "Придумал более совершенную, современную конструкцию динамо-машины, делаем ее из дерева и проволоки во всех деталях, окрасим в нужный цвет и вышлем багажом Институту. Так как чертить можно с деревянной разборной модели - обменяйте нашу деревянную на ихнюю металлическую, наша деревянная конструктивно лучше, для черчения полезней".

- Дорогой мой Вермо, - подумала Босталоева. - Где живет сейчас твоя невеста? Может быть, еще пионеркой с барабаном ходит!..

На другой день Босталоева вошла к секретарю ячейки чертежно-конструкторского института. Побледневший человек, спавший позавчера, выслушал женщину и встал со своего места с восторгом.

- Отправляйте сегодня же нашу динамо в ваш совхоз! - воскликнул он, наполнившись сознательной радостью. - Мы будем чертить трансформатор, пока не привезут деревянную модель вашего инженера... Сколько, вы сказали, добавит мяса динамо-машина? - я забыл.

- Сто или двести тонн, - сообщила Босталоева.

Ей захотелось сейчас сделать какое-нибудь добро этому товарищу; она любила всякое свое чувство сопровождать веществом другого человека, но секретарь глядел на нее отвлеченно, и она воздержалась.

Через несколько суток секретарь сам построил упаковочные ящики и отправил динамо-машину в "Родительские Дворики", в то же время он попросил еще раз приехать через полгода, но Босталоева лишь косвенно улыбнулась на это.

- Тогда мы возьмем шефство над вашим совхозом! - провозгласил секретарь ячейки.

- Ладно, - согласилась Босталоева. - Вы помогите нам организовать в совхозе учебный комбинат. Нам хочется достать ювенильное море, тогда мы нарожаем миллионы телят и вы не успеете поесть наше мясо... Но вперед нам нужно сто пастухов сделать инженерами.

- Ювенильное море! - вскричал секретарь, сам не зная, что это такое, но чувствуя, что это хорошо. - Мы добьемся через Крайком в порядке шефства, чтоб теперь же у вас был технический комбинат!

- Нам нужна электротехника, гидрология и наука о мясном животноводстве, - говорила Босталоева, - плюс еще общая подготовка...

- Дело! - радовался секретарь. - Сегодня же поставлю шефство на ячейке и на общем собрании. Обними меня.

Босталоева обняла это худое тело, выгоревшее сразу от всех лучших причин, какие есть в жизни.

- Достань мне электрические печи для коровников, - скромно улыбнулась Босталоева, не оставляя оглядывать секретаря, - и арматуру для них, и наружные изоляторы, и еще кое-что... На тебе спецификацию.

- Печей нету нигде, - отказал секретарь, уходя в сторону. - Через месяц у нас будет практика в конструкторских мастерских: сделаем через два месяца в порядке шефства, давай спецификацию! Тебе не поздно?

- Ладно, - разрешила Босталоева, - мне даже рано, мне нужно к зиме.

Она ушла; секретарь склонил свою голову к столу и перестал чувствовать в сердце интерес к окружающим фактам.

- Буду шефствовать! - с горем выступающих слез воскликнул он и стал провертывать на столе текущие дела.

В тот день Босталоева уехала на подводе в леспромхоз. У нее появилось целесообразное желание - завести себе повсюду шефов, чтобы обратиться к сердцу рабочего класса и тронуть его.

В леспромхозе Босталоева прожила целую декаду, прежде чем успела добиться любви к "Родительским Дворикам" у всего треугольника. Однако же директор леспромхоза решил упрочить свою симпатию к мясосовхозу чем-нибудь более выдающимся, чем одно симпатичное настроение. И он написал двустороннее шефское обязательство, по которому леспромхоз немедленно отправлял в совхоз бревна, доски, брусья, обolonки и различные жерди, а совхоз ежемесячно должен отгружать леспромхозу по две тонны мяса, в качестве добровольного угощения!

Но когда вопрос о шефстве был поставлен на коллективное размышление рабочих, Босталоева объявила, что она согласна угощать рабочих, но только чтобы директор не ел ее мяса, потому что он допустил в подходе к шефству оппортунистическую практику, а она оппортунистов питать не хочет - она не гнилая либералка.

Сидевшее собрание встало наполовину при этих словах и отказалось есть даровое мясо Босталоевой, вымученное из нее директором. Председатель профкома произнес свою речь, где он уничтожил всякий факт нищенства и угощенчества, в которых рабочий класс никогда не нуждается.

Директор, пока слушал, уже успел написать в блокноте черновик признания своей правой, дяляческой ошибки. На квартире он не спал всю ночь; он глядел через одинарное окно в тьму лесов, слушал голоса полуночных птиц и ожидал от тишины природы смирения своих тревожных чувств; но и тут он не мог успокоиться, поскольку такое отношение к природе есть лишь натурфилософия - мировоззрение кулака, а не диалектика. На рассвете директор вышел в контору и там написал чернилами раскаяние в одной ошибке и ордер на отправку "Родительским Дворикам" лесоматериалов в полоторном количестве против того, что просила Босталоева.

К вечеру того же дня Босталоева приехала обратно в крайцентр. Она уже тосковала по совхозу, у нее даже болел иногда живот от страха, что в "Родительских Двориках" что-нибудь случится. У Босталоевой осталась теперь одна забота - заказать пресс для приготовления навозных брикетов, а потом уехать в степь. Промучившись целый ряд суток по всему кругу учреждений, Босталоева не нашла себе такого сочувствия, чтобы ей дали предметы для устройства пресса, и притом во внеплановом порядке. В горе своем Босталоева пришла в Крайком партии. Там ее принял третий секретарь Крайкома, старик паровозный машинист; он пил чай с домашним пирогом и старался вообразить себе ясно этот пресс, делающий топливо из животных нечистот.

- Хорошо, - сказал в заключение старик, представив себе жму-

щую машину пресса. - Зачем ты шаталась по всему нашему бюрократизму, кустарная дурочка! Ты бы зашла ко мне сразу.

Старый машинист позвонил по телефону в Институт Неизвестных Топливных масс и велел помочь "одной девице" жечь коровье добро, а вечером пусть Институт сообщит ему на квартиру свое исполнение.

- Ступай теперь, умница, в этот институт, - сказал секретарь. - Там ребята тебе сделают пресс... Спроси инженера Гофта, это мой помощник - не здесь, там на паровозе... Если обидишься на что-нибудь, зайди опять ко мне.

По уходе Босталоевой, секретарь долго был доволен: старый механик почувствовал, что ушедшая девушка носила в своей голове миллион тонн нового топлива. Доев домашний пирог, он пошел к первому секретарю Краевого комитета и сказал ему, что настала пора обратиться в топливо все животные извержения, лежащие на площади края. Первый секретарь согласился подумать над этой задачей в текущих делах бюро.

Когда наступило бюро, то на заседание вызвали, как докладчика, Босталоеву и двух теплотехников из Института Неизвестных Топлив. Обсудив мероприятие, Бюро Крайкома поручило Институту сделать в течение двух месяцев два опытных пресса для "Родительских Двориков", а сам босталоевский совхоз превратить в свою опытную станцию, связавшись с инженером Вермо и кузнецом Кемалем.

Наполнившись счастьем своих достижений, Босталоева уехала наутро в "Родительские Дворики", навстречу будущему времени своей жизни.

* * *

Тем временем, как Босталоева была в командировке, в "Родительских Двориках" умерло восемнадцать коров, а у одного быка непонятным образом был отрезан член размножения и бык тоже умер.

Кроме того, семь коров были убиты в драке животных у дальнего водопоя, когда бык не сумел установить правильной очереди: старые коровы начали стервенеть и бодаться и семерых трехлеток кончили на месте.

Федератовна же лежала десять дней, большая животом и поносом, и только терла десны во рту, не имея зубов, чтобы ими скрипеть.

Високовский лично производил вскрытие коров и нашел причиной их смерти крупную нечищенную картошку, которую им скормили либо нештатные пастухи, либо неизвестные подкулачники. Високовский призвал к павшим коровам выздоравливавшую Федератовну и, заплакав редкими слезами, жалобно сказал:

- Я не могу больше служить в таком учреждении!.. Я специалист, я никаких родных в мире не имею, я здесь животных воспитываю, а ваши кулаки их картошками душат, ваши колодцы сухими стоят... Если кулаки у вас еще будут, а воды все мало и мало, я уеду отсюда. Я два года любил телушку Пятилетку, в ней уже десять пудов веса было, я мясного гения выращивал здесь, а ее теперь затоптали в очереди за водой! Это контрреволюция: я умру -

или жаловаться буду!..

Федератовна скучно поглядела на Високовского, как глядела она обычно на беспартийных.

- Какие это наши кулаки, дурак ты узкий!.. Езжай на дальние степи стеречь гурты, я всех пастухов арестовала.

- Сейчас поеду, - вытерев лицо, смиренно согласился Високовский.

Федератовна сняла с работы также Вермо и Кемаля, вместе с их бригадами, рывшими котлованы под ветряную мельницу и еще под одно сооружение, смысла которого Вермо до приезда Босталоевой никому не говорил, - всю живую людскую наличность Федератовна бросила в мясные гурты.

Сама же Федератовна села в таратайку и поехала без остановок в умрищевский колхоз.

В колхозе была тишина, из многих труб шел дым, слабый от безветрия и солнечной жары, - это бабы пекли блинцы; на дворах жили толстые мясные коровы и лошади, на улицах копались куры в печной золе и из века в век грелись старики на завалинках, доживая свою позднюю жизнь. Грустные избы неподвижно стояли под здешним старинным солнцем, как бедное стадо овец, пустые дороги выходили из колхоза на вышину окружающих горизонтов, и беззаботно храпели мужики в сенцах, наевшись блинцов с чухонским маслом. Еще на краю колхоза Федератовна встретила четырех баб, которые понесли в горшках горячие пышки в совхоз своим арестованным мужьям пастухам; однако те бабы, видно, не особо горевали, так как ихние туловища ходили ходуном от сытых харчей и бабы зычно пелбихивались.

Тоска неподвижности простиралась над почерневшими соломенными кровлями колхоза. Лишь на одном дворе ходил вол по кругу, вращая быть может колодезный привод; водило, к которому был привязан вол, оказалось слишком длинным, так что для вола требовался большой круг и ему разгородили соседние плетни; поэтому вол выходил на улицу, то скрывался на гумно. Удинокий поющий звук ворота, вращаемого бредущим одурелым животным, был единственным нарушением в полуденной тишине дремлющего колхоза.

Федератовна остановила свою таратайку и пошла сквозь по избам: ее всегда возмущала нерациональная ненаучная жизнь деревень, устройство печек без правильной теории теплоиспользования, общая негигиеничность и классовое искищрение зажиточных жителей.

В первой же избе, которую посетила Федератовна, была бьющая в глаза ненормальность: в печке стояли два горшка с жидкой пищей и бежали наружу, а баба сидела на лавке с чаплей и не принимала мер.

Федератовна, как была, так и бросилась в печку и выхватила оттуда оба горшка голыми руками.

- Нет на вас образования, серые черти! - с яростью сказала Федератовна хозяйке. - Ведь жидкость-то расширяется от температуры, дура ты обнаглелая, - зачем же ты воду с краями наливаешь, чтоб жир убежал?.. А в колхоз небось шла - брыкалась! Да как же тебя, ломовую, образованию научить, если прежде всего единоличного демона твоего не задушить в тебе... У-у, анчихристы, замучили вы нашего брата!.. Дай вот я к тебе еще приду... Я еще погляжу, как ты в ликбез ходишь, какая ты общественница здесь, ду-

ра неумильная!..

Федератовна ушла с несчастным сердцем, а дворовая баба сначала обомлела, а потом ощерилась.

В другой избе Федератовна начала кушать молоко и сливки и раскушала, что это совхозная продукция, отнюдь не колхозная: слишком высок процент жира и пенка вкусна. Здесь старушка ничего не сказала, а только вздохнула с протяжностью и положила зло в запас своего сердца.

На следующем дворе мужик-колхозник экстренно помчался куда-то, не видя гостю, а гостя села на лопушок и обождала его; в запертом сарае в тот час кто-то томительно рычал и давился, и вскоре оттуда же стали доходить мучительные звуки расставания с жизнью. Федератовна подошла к сараю и заметила в прореху, что там терзается корова и еще две коровы стоят около нее, облизывая языком ее уже утомляющееся смертью лицо. В тот момент мужик примчался обратно: он держал в одной руке топор, а в другой квитанцию и, отперев коровник, умертвил свое животное топором, зажав квитанцию в зубах. Кончив дело, мужик засунул руку в пасть коровы и вынул оттуда громадную размятую картошку, обмоченную кровью и слизью.

В эти моменты некоторые жители уже управились заметить таратайку Федератовны, и зажиточные ребятишки летали по дворам, предупреждая, кого нужно, что появилась сама старуха, чтоб все сидели смирно, а остаточное кулачество пусть прячется в колодцы. Спустя ряд мгновений в деревне потух ряд печек и несколько последних, исхищенных кулаков полезли по бурьянным гущам к колодцам и залезли в них по веревкам, а в колодцах сели на давно готовые, прибитые к шахте табуретки и закурили.

Федератовна как только вышла с последнего двора, как глянула своей зоркостью на изменившийся дух деревни, так у нее закипело все, что было внутри, даже съеденное кушанье.

Она пошла тогда к старому бедняку, своему другу, Кузьме Евгеньевичу Иванову, который в тот час облеживался после работы.

Кузьма Евгеньевич со всей симпатией встретил старушку и открыл ей тайну умрищевского колхоза.

- Я ведь здесь, как Союзкино-журнал, - сказал старик Кузьма, любивший туманные картины еще со старого времени: - все вижу и все знаю... Вот что делается, кума, аж последняя теория замирает в груди!.. Дай-ка я тебе чайку погрею в чугуне.

Погрев чаю, бедный старик торжественно объявил, что он вчерашний день организационно покинул колхоз и стал революционным единоличником, ибо Умрищев учредил здесь кулачество.

Федератовна вцепилась здесь в бедняка-старика и, склонив его книзу за отросток волос, начала драть оборкой юбки по заднице:

- Вот тебе революционный единоличник! Вот тебе кулачество! Вот тебе Союзкино-журнал! Все видишь, все знаешь, - так не молчи, - действуй, бунтуй, старый сукин сын!.. Вот тебе теория, вот тебе - в груди она замирает! Не будь, не будь, - либералистом не будь! Старайся, старайся, активничай, выявляй, помогай, шагай, не облеживайся, не единоличничай, - суйся, суйся, суйся, бодрствуй, мучитель советской власти!..

Укротившись в этом бою и выпив чаю, чтоб не пропадала кипя-

ченая вода, Федератовна пошла проверить экономику колхоза. Она обнаружила, что на каждом дворе была полная живая и мертвая утварь, - от лошади до борова, не говоря уже про пользователей, про молочных или шерстяных животных. Что же, спрашивается, было обобществлено в этом колхозе?

Никакой коллективной конюшни или прочей общественной службы Федератовна не нашла, хотя и прошупала всю деревню сквозь, даже в погреба заглядывала и на чердаки лазила.

С этим непонятным мнением и бушующим сердцем Федератовна поехала к председателю Умрищеву. Умрищев, оказывается, жил в той самой избе, по усадьбе которой бродил вол, таская ярмо привода.

Умрищев сидел в занавешенной комнате, на столе у него горела лампа под синим абажуром, и он читал книгу, запивая чтение охлажденным чаем. Кроме лампы, на столе Умрищева крутился вентилятор и подавал в задумчивое лицо человека непрерывную струю воздуха, помогающую неустанно мыслить мыслителю. Зная науку, Федератовна расследовала действие вентилятора и нашла, что он крутится силой вола, гонимого погонщиком, который ходил во след животному с лицом павшего духом; вол передавал свою живую мощь на привод, а от привода шли далее - через переходные оси - канаты, за канаты были привязаны веревки, а уж вентилятор вращала суровая нитка.

- Здравствуй, негодный! - сказала Федератовна.

- Здравствуй, старушка! - ответил Умрищев, - что это тебя носит по всей территории?! Ты бы лучше жила в сидячку и берегла силу в голове.

- Ты что это?.. Где у тебя тут диалектика действий? Ты что - ты кулачество здесь рожаешь?.. Я все, батюшка, знаю, я все батюшка, видела!.. Замолчи, несчастный схематик, - сейчас тебя тресну!

- Садись, - сказал Умрищев, держа одну руку близ утомившейся головы, а другую кладя на зачитанную страницу, - садись, старушка: в стоячку я не говорю... Ты у меня видела отсутствие обезлички - первый этап моего руководства.

- Какое такое отсутствие обезлички? - как молодая, затрепетала вся Федератовна. - А ты знаешь, что твои колхозники пастухами у нас были, что они коров наших в гроб кладут, целые гурты твои бабы отдаивают, что...

- Ты не чтойкай, старушка, - возразил Умрищев, - ты тверже руководи, соблюдай классовую политику в отношении рабсилы и держись четче на своем посту.

Старуха подвигала пустыми деснами во рту и даже вымолвить ничего не смогла от напора ненавистных чувств.

- Ты погляди на мое достижение, - указывал со спокойствием духа Умрищев, - у меня нет гнусной обезлички: каждый хозяин имеет свою прикрепленную лошадь, своих коров, свой инвентарь и свой надел - колхоз разбит на секции, в каждой секции - один двор и один земельный надел, а на дворе - одно лицо хозяина, начальник сектора.

- А чьи же это лошади у твоих хозяев?

- Ихние же, - пояснил Умрищев, - я учитываю чувственные при-

вязанности хозяина к бывшей собственной скотине: я в этом подходе конкретный руководитель, а не механист и не богдановец.

Старуха дрогнула было от идеологической страсти, но с мудростью сдержалась.

- Старичок, старичок, - слабо сказала она, - а в чем же колхоз у тебя держится?

- Колхоз держится только во мне, - сообщил Умрицев. - Вот здесь, - Умрицев прислонил ладонь к своему лбу, - вот здесь соединяются все противоречия и превращаются силой моей мысли в ничто. Колхоз - это философское понятие, старушка, а философ здесь я.

- А все у тебя состоит в колхозе, старичок?

- Нет, бабушка, - пояснил Умрицев. - я не держусь абсолютных величин: все абсолютное превращается в свою противоположность.

- Покажи-ка мне классовую ведомость, - спросила Федератовна.

Умрицев показал графу на бумаге, что двадцать девять дворов бедных и маломощных хозяев не состояло в колхозе - они отписались назад с приходом Умрицева, а всего в деревне было сорок четыре двора.

Федератовна вскочила с места, всем своим округленным телом, собираясь вступить с Умрицевым в злобное действие, но в дверь вошел в валенках чуждый человек.

- Здравствуй, товарищ Умрицев, - у меня горе к тебе есть! - сказал пришедший.

- Горе? - удивленно произнес Умрицев. - Для теоретического диалектика, товарищ Священный, горе всегда превращается в свою противоположность: горя боятся только идеалисты.

Священный, конечно, согласился, что горе для него не ужас, - однако у него прокисли прошлогодние моченые яблоки в кооперативе и стали солеными, как огурцы, а морковь пролежала свою сладость и приобрела горечь.

- Это прекрасно! - радостно констатировал Умрицев. - Это диалектика природы, товарищ Священный: ты продавай теперь яблоки, как огурцы, а морковь, как редьку!

Священный жутко ухмыльнулся своим громадным пожилым лицом, на котором лежали следы возраста и рубцы неизвестных побоищ; он с непонятной жадностью поглядел на старушку, а затем сразу захохотал и умолк с внезапным испугом, точно ощутив какое-то своеконтрольное, предупреждающее сознание. От его смеха по комнате понесся нечистый воздух изо рта и понятно стало, какую мощную жрущую силу носил в себе этот человек, как ему трудно было жить среди гула своего работающего организма, в дыму пищеваренья и страстей.

Священный сел на скамейку в отдышке от собственной тяжести, - хотя он не был толст, а лишь громаден в костях и во всех отверстиях и выпуклостях, приноровленных для ощущений всего постороннего. Сидячим он казался больше любого стоящего, а по размеру был почти средним. Сердце его стучало во всеуслышание, он дышал ненасытно и смотрел на людей привлекающими, сырыми глазами. Он, даже сидя, жил в целесообразной тревоге - желая, видимо, схватить что-либо из предметных вещей, воспользоваться всем ощу-

тимым для единоличной жизни, сжевать любую мякоть и проглотить ее в свое пустое, томящееся тело, обнять и обессилить живущее, умориться, восторжествовать, уничтожить и пасть самому смертью среди употребленного без остатка, заглохшего мира.

Священный вынул рукой из мешка, пришитого к своим штанам, кашу, съел четыре горсти и начал зажевывать ее колбасой, изъ-ятой из того же мешочного кармана; он ел, и видно было, как ско-плялась в нем сила и надувала лицо багровой кровью, отчего в гла-зах Священного появилась даже тоска: он знал, как скудны местные ус-ловия и насколько они неспособны удовлетворить его жизнь, гото-вую взорваться или замучиться от избытка и превосходства. Надув-шись и шумя своим существом, Священный молча жевал, что лежало в его кармане.

Умрицев, вспомнив про пищу и про то, что мысль есть материа-листический факт, попросил у Священного пищи. Священный так че-му-то обрадовался, что выбросил, как рвоту, жеваное изо рта и вынул из бокового мешка кривой кусок колбасы, закопченный на ог-не. Умрицев без внимания взял колбасу, но Федератовна, как гля-нула на этот продукт, так завизжала, как девушка, и зажмурилась от срама: она узнала бычий член размножения, срезанный у произ-водителя совхоза.

Умрицев же, начитавшись физико-математических наук, ничем теперь не брезговал, поскольку все на свете состоит из электро-нов, и съел ту колбасу.

Открыв глаза, Федератовна бросилась энергично на Умрицева и укусила его; однако ж, благодаря беззубию старушки, Умрицев не узнал боли и подумал, что в старухе загорелись стихии остаточ-ных страстей - преддверие гроба. Захотавший, развонявшийся Священный также получил укус Федератовны, но он лишь обрадовал-ся, почувствовав вкус старухи.

На столе Умрицева остановился вентилятор; в дверь пришел сон-ный, унылый погонщик с топориком и сказал, что вол был сытый и здоровый, но скучный последнее время и умер сейчас: наверно от тоски своего труда для ненужного человека.

- Я теперь кандидат партии и ухожу со двора, - сказал погон-щик. - Бабушка, - обратился он к Федератовне, - ты с совхоза, возьми меня туда.

- А что с тобой такое, родимец? - спросила Федератовна. - Че-го ты прежде не сигнализировал, - какой ты кандидат партии!..

- Мне, бабушка, неважно тут стало, у меня сердце испорти-лось от них и ум уморился...

- А от чего ж у тебя сердце-то испортилось?

- От них, - сказал вентиляторный батрак. - У них такая нау-ка, чтоб бить совхоз и твердеть зажиточному единоличнику... Миш-ка Сысоев двух телок у совхоза свел, - а ты не знала, - он члену кооперации товарищу Священному их на фарш продал, в кооперации товарищ Священный постоянно фарш на машине крутит, раньше хотел сосисочную фабрику открывать - теперь войны ожидает... Мишка Сы-соев и Петька Голованец в пастухах были у тебя и хотели коров увезть: они порезали их на степи, а товарищ Священный обещал им лошадь, потом подрался с нею и убил всю лошадь, - коров черекну-ли, а везти не на чем, тут ты поймала пастухов и в амбар запер-ла. Они теперь сидят, кричат - им там мочи нету, а бабы им блин-

цы пекут из твоего молока, а мука своя...

- Я не давал установок бить совхоз! - воскликнул Умрищев. - Я теоретик, а не практик: я живу здесь лишь как исторически заинтересованная личность, а в последнее время перехожу на точные науки, в том числе и на физику и на изучение бесконечно больших тел! Это клевета классового врага на ряды теоретических работников!

Священный по-страшному и непрерывно хохотал, а Умрищев глубоко, но чисто теоретически, возмущался.

На дворе же все время шел жаркий день, стареющий в ветхой пустынной пыли, покрытой чадом тления местной почвы, и весь колхоз находился в этой туманной неопределенности атмосферы.

- Ведь здесь же была ликвидация кулачества: кто же тут есть? - узнавала Федератовна, держа бдительный взгляд на всех присутствующих людях. - Где же тут сидит самый принципиальный стервец?

- А здесь - они, - вяло показал погонщик на Умрищева и Священного, - а под ними зажиточные остатки, которые жир наживают на твоей говядине с совхоза. У тебя за год сто коров семнадцать дворов съели - и мало, а ты один обман знала...

Федератовна на вид не удивилась, только подернулась гусиной кожей возбуждения.

- А чего ж бедняки-колхозники глядели и молчали? - спросила она.

- А это же я и есть бедняк-колхозник, - с собственным изумлением сказал погонщик, сам в первый раз подумав, кто он такой. - Как же я молчу, когда я весь говорю. На тебе топорик, а то товарищ Священный сейчас убьет тебя.

Священный, чуть двинувшись, схватил погонщика вентиляторного вола поперек и начал давить его слабое тело до смерти, но погонщик стукнул его топором в темя незначительным ударом уставших рук, и оба человека упали в мебель. Умрищев, вообще не склонный к практике действий, обратил внимание Федератовны на полную неуместность происходящего факта. Тем временем лежащий Священный был далеко не мертвый и пробил ногами стену на улицу, высунувшись конечностями в деревню, но уже обратно он не мог подобрать свои ноги, потому что погонщик терпеливо дорубал голову своего врага.

Федератовна взяла погонщика за руку и увела его на двор. Погонщик напился на дворе воды, поглядел на оставшийся без Священного мир и повеселел:

- Это я работал на жаре без шапки, у меня голова ослабела, и я тебе знать ничего не давал. Как буду на совхозе работать, так куплю себе шапку.

- Нет, милый, - сказала Федератовна, - ты в совхозе не будешь работать... Ты зачем, поганец, человека убил? - что ты, вся советская власть, что ли, что чуждыми классами распоряжаешься? Ты же сам - одна частичка, ты хуже электрона теперь!

Погонщик помутился на вид и опустил рано стареющую голову.

- Это, бабушка, от жары: мне голову напекло... Дай я вот шапку куплю!

Федератовна пригнула погонщика и погладила его лохматую голову.

- Нет, ты брешешь, - голова у тебя нормальная...

На околице колхоза встал вихрь кругового ветра и поднял с

земли разные предметы деревенского старья. Позади вихря шла, не колеблясь, прочная туча дорожной пыли. Это двигалось добавочное стадо в "Родительские Дворики", уже многие сутки одолевая пешком полтораста верст. Позади стада ехали на волах гуртовщики и ели арбузы от жажды.

Федератовна отправила убийцу-погонщика в совхоз со стадом и велела ждать ее, а сама села в таратайку и направилась в район, в комитет партии.

В районе Федератовна не застала секретаря партии, - он умер вскоре после свидания с Босталоевой, потому что у него вскрылась от истощения тела внутренняя рана гражданской войны.

Новый секретарь, товарищ Определеннов, уже знал курс дела в умрищевском колхозе и еще имел в своем распоряжении всю картину бушующих капиталистических элементов, окружающих "Родительские Дворики".

А сейчас он грустно жалел, что не управился лично объездить колхозы умрищенского влияния, когда даже старушка мчитя неустанно в таратайке по степи и действует энергичной силой.

Федератовна начала обижать Определеннова упреками, что он хуже покойника и руководит районом из своего стула, что он скатится в конце концов в схематизм и утонет в теории самотека. Секретарь, хотя и чувствовал свое слабое недовольство, все-таки радовался наличию таких старушек в активе района.

- Бабушка, - сказал с любовью к ней Определеннов, - Умрищева мы сегодня обсудим на бюро и отдадим из партии к прокурору, а тебя мы перебрасываем из совхоза на место Умрищева. Ты согласишься?

Федератовна почувствовала было тоску, но сознание враз спрыскалось в ней с ничтожным чувством личности, и она сказала:

- Согласуй с директором и пиши путевку, товарищ Определеннов, либо социализм, либо нет, - ведь вот вопрос-то!

Отвернувшись, Федератовна, как всякая рядовая бабка из масс, вытерла в знак огорчения свои глаза краем кофты - она чувствовала свое расставание с Босталоевой.

- Ты это что? - спросил Определеннов.

- Ты пиши, ты пиши наше партийное, а то мое старое бабье выходит наружу.

- Да то-то! - сказал Определеннов, предназначивая какую-то повестку дня. - А я думал, ты горюешь о чем-то.

- Да то, пиши, не горюю, а то, ништ, не скучаю! - закричала вдруг Федератовна, - иль я безгрудая, бездушная, нездешняя какая!.. Родные мои Дворики, Надюшка моя, товарищ Босталоева, отымают меня Умрищев-злодей, уж смеркается сердце мое, схоронились вы за дорогию... - И склонившись плачущим лицом на стол секретаря, старуха заголосила на весь районный центр.

Через час терпеливый Определеннов спросил у нее:

- Ну, как, бабушка?

- Обсохла уж, - ответила Федератовна. - Давай инструкцию на ликвидацию умрищевской школки.

Определеннов длительно улыбнулся и не стал учить умную и чувствительную старушку, поскольку она сама уже постигла все.

Надежда Босталоева возвратилась в "Родительские Дворики". Она приехала тихо, в вечерние часы, на подводе привокзального единоличника.

Не доезжая двух верст, Босталоева остановилась. В совхозе стояла неизвестная башня, емкая и полезная по виду, хотя и невысокая по размеру. Закат солнца освещал темный материал местного происхождения, из которого была построена башня. Кроме башни, в совхозе был еще огромный силы и величины ветряк, при этом он крутился сейчас, в пустоте совершенно тихого воздуха.

Подъехав еще ближе, Босталоева убедилась, что землебитных жилых домов в совхозе уже нет, а также не было никаких других следов прежних обжитых "Родительских Двориков" - ни шелюги, ни знакомых предметов, в виде тропинок, лопухов и самородных камней, доставленных сюда неизвестной силой, - теперь была лишь развороченная грузная земля, как битва, оставленная погибшими бойцами.

- Что здесь такое? - с испугом спросила Босталоева. - Где же мой совхоз?

Возчик-единоличник объяснил ей, что совхоз должен быть тут.

- А это просто какие-то факторы! - сказал возчик на башню и мельницу. - Теперь ведь много факторов в степи, а я живу около транспорта, я отсюда дальний. Транспорт, тот я знаю: тара 414 пудов, нетто, диаметр шейки, тормоз Казанцева, закрой поддувало и сифон! - автоблокировка, три свистка - дай ручные тормоза, два - освободи обратно, багаж принимается при наличии проездного билета, - а степь я не люблю: это место для меня как-то почти что мало вероятно, я люблю больше всего вагоны парового отопления и еще сторожевые будки. В будках хорошо живет сторожевому человеку: кругом тихо, работы мало, мимо поезда мчатся, выйди и стой себе с сигналом, а потом осмотри свой участок и заваривай себе кашу...

Босталоева со вниманием посмотрела на этого случайного, проходящего для нее человека: как велика жизнь, подумала она, и в каких маленьких местах она приютилась и надеется...

В снесенном совхозе ходили четыре вола по взбугренной почве и крутили мельницу наоборот, то есть не текущий воздух вертел снасть, а живая сила вращала снизу крылья в воздухе. Босталоева с удивлением спросила у Кемалья, радостно созерцавшего такое разорение, что это означает.

Кемаль, назначенный к этому дню секретарем ячейки, подал Босталоевой разросшуюся от работы руку и сказал:

- Это мы притирку частей делаем, чтоб механизм обыгрался на ходу: новый паровоз тоже сам себя сначала не тянет, пока не обкатается...

Около мельницы гонял волов инженер Вермо, обнищавший в одежде и успевший постареть за истекшее время. Он было обрадовался, что видит Босталоеву, но вдруг задумался другим, нагрнувшим на него сомнением:

- Надежда Михайловна, - сказал он, - что если мы ликвидируем всех пастухов, а коров поручим быкам. Високовский мне говорил, что бык это умник, если его приучить к ответственности:

субъективно бык будет защитником коров, а объективно нашим пастухом, штатное многолюдство - это отсталость, Надежда Михайловна: нам надо поменьше людей, - в республике слишком много работы... Федератовна арестовала кулацких пастухов, а нам их теперь негде держать - их связал Климент веревкой от бегства и увел в районную тюрьму. Говорят, пастушьи бабы защекотали Климента в степи, а бабы мужья разбежались. Динамо-машину мы получили, но без вас было скучно...

Инженер говорил что попало, пробрасывая сквозь ум свою скопившуюся тоску. Босталоева ничего не ответила Вермо: она настолько утомилась от своих действий в городе, от впечатлений исторической жизни, от своего сердца, отягощенного заглушенной страстью, что уснула вскоре в тени неизвестной башни, молчаливо обидевшись на всех.

Проснулась она вечером, покрытая от росы и ночного холода разной одеждой.

Вблизи от Босталоевой сидели шестнадцать человек, среди них были Кемаль, Вермо и Високовский, и все они ели пищу из одного котла.

- Сломали весь совхоз, а сами кашу едят! - сказала Босталоева. - Сволочи какие!.. Кто из вас первый начал землю здесь рыть, здоровы ли гурты, где Федератовна-старушка?.. Кемаль, ты зачем тут глядел, кто эти люди сидят? Я прямо удивляюсь: какие вы малолетние! А я думала, вы и вправду коммунисты!

- Мы-то? - прохаркнувшись от мелкой каши с молоком, произнес Кемаль. - Мы-то не коммунисты? Ах ты дура-девчонка! Я старый кузнец и механик, я не смеялся тридцать лет, а вот пришел инженер Вермо, открыл нам пространство науки - и я улыбнулся на твой совхоз из землянок! Ты же все лозунги извращаешь, ты с природой, ты с отсталостью примирялась здесь, - нервная ничтожность такая!.. Ты уехала, старуха твоя пропала - тоже советская насадка такая - и мы втроем, - Кемаль показал еще на Вермо и Високовского, - мы сказали твоему старушьему совхозу: прочь, ты не дело теперь! - и не было его в одну ночь! Надо трудиться, товарищ директор, не за лишнюю сотню тонн говядины, а за десять тысяч тонн!.. Ты - девчонка еще в глазах техники!

"Отчего у нас люди так быстро развиваются? - подумала Босталоева, заново разглядывая Кемалья. - Это прямо превосходно!"

Другие рабочие, оказавшиеся на проверку бедняками, сбегавшими из умрищевского колхоза, также начали стыдить Босталоеву за ее недооценку башни, мельницы и дальнейших перспектив.

Високовский взял Босталоеву, как женщину, под руку и повел ее в башню. Босталоева молчала. Вермо глядел ей вслед и думал, сколько гвоздей, свечек, меди и минералов можно химически получить из тела Босталоевой. "Зачем строить крематории? - с грустью удивился инженер. - нужно строить химзаводы для добычи из трупов цветметзолота, различных стройматериалов и оборудования."

Башня была сложена из сжатых, сбикетированных ручным прессом глино-черноземных кирпичей и представляла собою вид усеченного конуса.

В сенях башни находилось особое стойло, - оно хоть и не имело еще арматуры, но это было то же, что электрический стул для человека, - место смертельного убийства животных высоким напряжением. Високовский и Вермо не хотели портить качества мяса предсмертным ужасом и безумной агонией живого существа от действия механического орудия. Наоборот, животное будет подвержено предварительной ласке в электрическом стойле, и смерть будет наступать в момент наслаждения лучшей едой. Внутренность башни была выложена досками в тесную пригонку, а доски покрыты слоем клевого лака, непроходимым для электричества.

- Вы понимаете, что это? - спросил Високовский.

- Нет, я не понимаю, - сказала Босталоева. - Ведь дожди же размоют эту земляную каланчу.

- Толщина кладки земляных брикетов здесь такая, Надежда Михайловна, - объяснил Високовский, - что нужно десять лет ливней, чтобы вода смыла башню...

Вид животных, гонимых сквозь пространства пешком в города на съедение или даже запертых в неволю вагонов, всегда приводил Високовского в душевное и экономическое содрогание. Коровы, и особенно быки, слишком впечатлительны, чтобы переносить железнодорожную езду, вид городов и ревущую индустриализацию. У животных расстраиваются нервы, они высыпают беспрепятственно из себя навоз и теряют съедобный вес. Сосчитано, что при езде в вагоне коровы на тысячу верст худеют на десять и больше процентов, а быки вовсе тают, тоскуя, что им уже никогда теперь не придется случаться.

Если "Родительские Дворики" отправят в течение года две тысячи тонн коров, то двести, а может быть и четыреста тонн наиболее нежного мяса будет истрачено в пути, благодаря похудению животных. Кроме того, коровы могут вовсе умереть в дороге. Эти двести или четыреста тонн говядины должен сохранить электрический силос, построенный как башня. Коровьи туловища разрубаются на сортовые части и загружаются в башню. Затем небольшое количество высоко-напряженного тока пропускается сквозь всю массу говядины, и говядина сохраняется долгое время, даже целый год, в свежем и питательном состоянии, потому что электричество убивает в нем смертных микробов.

По мере надобности мясо накладывается в приспособленные кадушки с выкачанным воздухом и отправляется в города. В дальнейшем следует вокруг электрического силоса развить комбинат, с тем чтобы на месте обращать мясо в фарш, колбасу, студень, консервы и отправлять в города готовую еду.

У Босталоевой, после разговора с Високовским, жалось сердце, что она еще не инженер и ей нужно излишне любить Вермо.

Високовский развил перед директором еще ряд мер, обдуманных им совместно с Вермо и Кемалем, для резкого накопления мяса в совхозе, а Босталоева молча думала о новом техническом большинстве, которому уже не соответствует ее ум.

Здесь в башенные сени вошла бывшая совхозная кухарка, не знавшая, куда теперь ей деться, когда все сломали, когда из металлических ложек мужики сделали проволоку, суповые котлы раскатали в листы, когда даже ушные сережки вынули у нее и распла-

вили их в олово, - эта печальная, бесхозная женщина, лишенная бытового состояния, сказала, что движется новое стадо из какого-то дальнего пункта: идите его встречать и организуйте поскорее баб из степи, потому что некому обдаивать скотину, а из нее уж капает молоко в землю.

Босталоева и Високовский вышли из сеней башни и увидели погонщика умрищевского вентиляторного вола; погонщик прибежал первым, чтобы осознать новое место своей жизни и сообщить.

* * *

Устроив вновь прибывшее стадо на участок степного разнотравья, открытый недавно Високовским около одного дальнего одичавшего колодца, Босталоева возвратилась ночью в совхоз. Вермо играл на гармонии, а Кемаль плясал - с тем выражением, словно хотел выветрить из себя всю надоевшую старую душу и взять другой воздух из дующего ветра.

Странно и опасно было видеть костер в степной темноте, веселых людей, крылья могучей мельницы, башню и слушать, как всеобщий человеческий голос, прекрасную музыку, всегда соответствующую намерению борющихся большевиков. Босталоева вошла в среду людей и стала танцевать по очереди со всеми товарищами, пока не перепробовала всех; только Вермо, как занятый музыкант, не мог потанцевать с Босталоевой, но зато она, двигаясь, обещала ему достать агрегат для бурения на ювенильное море, и Вермо с энергией радости начал еще лучше играть на гармонии. Один погонщик вентиляторного вола стоял в стороне, не примкнув к дружбе и музыке, но и его Босталоева взяла в дело танца, отчего погонщик весь заухмылялся и уж заранее согласен был положить всю свою силу на совхозном строительстве - настолько он мало еще видел нежности в жизни. Танцую, погонщик нюхал подругу-директора и наслаждался своим достоинством, нужностью и равенством с высшими друзьями, а Босталоева глядела на него близко и улыбалась ему в лицо своей улыбкой серьезной искренности, своими спокойными верными глазами, и погонщик чувствовал ее легкую руку на своем плече, привыкшем к тяжести и терпению.

Глядя на танцующих, Вермо успел уже продумать вопрос о рационализации отдыха и счастья, а сам не мог победить в своем сердце чувства той прозрачной печали, которая происходит от сознания, что Босталоеву может отбить целый класс пролетариата и она не утомится, она тоже ответит ему со страстью и преданностью.

Вскоре погонщик умрищевского вола заржал от радости не своим голосом - женским басом, и танец постепенно прекратился, поскольку долгое веселье превращается уже в скорбь.

Наступила полночь; воздух начал прозябать от росы и отсутствия солнца, и всем людям, всей технической бригаде Вермо и Кемалья, захотелось спать и согреться. Тут же стало известно, что вся теплая одежда ушла со вновь нанятыми пастухами на пастбище, на месте была только одна громадная кошма, метров в десять или пятнадцать длины. Все влезли под ту кошму, а Босталоеву положили в середину, чтобы ей было теплей, и ближние соседи отодвину-

лись от нее, желая дать Босталоевой больше дыхания и свободы, если она будет шевелиться во сне.

Наутро в совхоз приехала в таратайке Федератовна, и с ней прибыл в качестве кучера секретарь райкома Определеннов. Старушка еще издали закричала от злости, решив, что умрищевцы управились украсть без нее весь совхоз.

- Подожди ты шуметь, убогая, - остановил ее Определеннов, не терпевший никакого визга на земле, как знака бессилия. - Побольше спокойствия, бабушка, - нам ничто не страшно.

Застав под кошмой население совхоза, Определеннов стянул со спящих кошку, и они сразу проснулись, как оголтелые.

Опомнившись, видя недовольство старухи и секретаря, Вермо начал порочить естественное самотечное устройство природы и потворство этому оппортунистическому устройству со стороны администрации совхоза, например, разве земляночно-землебитная и деревянная ферма совхоза не есть ненависть к технике? - Разве можно получить мясо от полуголодного, непоеного скота, бродящего в печали по пище десятки верст ежедневно? - и мы снесли в ночь всю совхозную убогость, дабы освободить мебель с утварью и взять из них гвозди, доски и прочие материалы для истинной техники, для утращения продукции совхоза!

- Он прав вполне, - с неопределенной грустью сказал Кемаль.

- Вы еще понятия не имеете о большевистской технологии, - говорил Вермо среди летнего утра, неумытый и постаревший от темы своих размышлений, - у вас нет органического ощущения техники, как первого чувства своей жизни...

Федератовна, осознав, что кто-то хотел обидеть науку, враз стала на точку яростной защиты Вермо и приветствовала речь башню и мельницу.

Определеннов смеялся на старушку и был рад, что в "Родительских Двориках" под видом чувственного восторга происходит на самом деле социалистическое скотоводство, превозмогающее все существующее на свете на этот счет.

- Говори теперь ты, Високовский, - предложил Определеннов.

- Хотя я зоотехник, - сказал Високовский, желая выявить чем-нибудь охватившую его радость зоотехнического творчества, хотя бы тем, что покаяться, - хотя моя дисциплина долгое время была выражена невежественным оппортунизмом и вредительством и взглядом на зоологию, как на мягкую какую-то, тихую науку, где все гармонично и эволюционно, но я заявляю, что советская зоотехника немислима без металлургии, без машиностроения, без электрификации, потому что только железо и огонь добудут нам воду в сухих степях, потому что лишь тонкая пульсация электричества, приближающаяся по нежности и остроте своего факта к жизненным явлениям, к зоологии, лишь она, эта пульсация, игра солнечной энергии в атомной глубине материи, как определяет Николай Эдвардович Вермо, лишь она даст нам излишний нарост мяса на костях животных, позволит нам рационально забить скот, сохранить его без потерь и отлично транспортировать. Затем я предлагаю уничтожить немедленно текучесть рабсилы...

- Как - конкретно? - спросил Определеннов, вслушиваясь с полным сердцем в слова специалиста.

- Уничтожить ее, как текучесть, как пережиток разрыва города с деревней... Нужно внести скользящую шкалу профессий, чтобы пастух был обучен строительству и мог быть плотником зимой или еще чем-либо, чтобы человек обнимал своим умением несколько профессий и чередовал их во времена года... Каждый трудящийся может и обязан иметь хотя бы две профессии, - наш Кемаль имеет их целых четыре, - это даст десятки тысяч экономии по одним "Родительским Дворикам"... Да здравствует наша жизнь и наш напряженный труд для всех товарищей... как дальних, так и близких! - неожиданно кончил скромный Високовский и медленно покраснел, почувствовав свою заключительную патетическую бестактность...

- Да здравствуют наши социалистические специалисты! - громко сказал Определеннов, чтобы уничтожить краску должного смущения с лица Високовского.

Но Високовский покраснел еще гуще, и все засмеялись, а Босталоева смеялась до тех пор, пока у нее не вышли слезы, блестящие на свете солнца, как роса на черной траве ресниц. Все люди поглядели на глаза Босталоевой, а Вермо сказал:

- Я ручаюсь, что не каждый еще сумеет умереть из нас, как наступит высший момент нашей эпохи: нам тогда потребуется лишь построить оптический приемник-трансформатор света в ток, как мы сейчас строим радиоприемники, и через него к нам польется бесконечная электрическая энергия - из солнечного пространства, из лунного света, из мерцания звезд и из глаз человека... Вот какая проблема, товарищи, сидит в одном взоре Босталоевой, а вы увидите ее глазами полового мещанства: так ведь никуда не годится!

- Глянь в мои глаза! - попросила Федератовна. - У меня там горит электричество или потухло?

Вермо поглядел в старушечьи очи.

- Плохо горит, - сказал инженер, - у тебя бельма растут.

Федератовна сразу оценила было этот факт, как заглушенную вылазку врага, но потом пошевелила деснами и передумала.

- Пусть растут, - согласилась старуха, - я и видеть не буду, так почую. А ты научный левак!

- Погоди судить, бабушка, - сказал Определеннов. - У них уже есть дела, а ты говоришь слова... Давайте, товарищи, наметим план технической реконструкции "Родительских Двориков".

Здесь же, на общей кошме, был составлен перечень главных мер, а именно:

Название работы	Цель ее	Фамилия бригадира и срок исполнения	Полезный эффект и примечания
1	2	3	4
1. Закончить постройкой электродвигатель; установить ди-	Зимой: отопление скотных баз и бочих жилищ, подача жара на кухню.	Вермо. 2 месяца.	300 тонн до- бавочной го- вядины. На 100 руб. топ-

1	2	3	4
1. намо; смонтировать трансмиссионную передачу, провести электрическую сеть.	Летом: давать силу на насос и на брикетный пресс.		лива. Уничтожение заводи на центральной усадьбе.
2. Электротехнический монтаж силосной башни и убойного стойла.	Заготовка свежей говядины в долгий прок.	Високовский, консультация Вермо. 1 месяц.	Не менее 400 тонн мяса. При отсутствии ветра питать башни следует от водовоего привода в виду малого количества тока, потребного для башни.
3. Пресс для брикетирования коровой желудочной продукции.	Решение степной топливной проблемы.	Кемаль.	Экономия 2000 руб., которая должна быть истрачена на покупку стороннего топлива.
4. Приобрести, перепроектировать, переделатъ два вольтовых агрегата разной мощностью.	Электрическим пламенем меньшего агрегата резать камень в карьерах и сваривать на месте кладки, с целью постройки целлюлозных жилищ для людей и скота. Мощным агрегатом прожигать скважины в глубину земного шара, дабы вскрыть кристаллическую гробницу материнского моря, либо вообще достигнуть богатых запасов воды - взять оттуда количество влаги, до-	Босталоева - Вермо. 3 месяца.	По строительству 50 тыс. руб. По малому водоснабжению 40 тыс. руб. в год. По большому водоснабжению (на материнском море): социалистический риск.

1	2	3	4
	<p>статочное для образования постоянного моря. Параллельно бурить медленно вольтовым огнем неглубокие водоносные скважины на всех пастбищах и зимних гуртах совхоза (малое водоснабжение).</p>		
<p>5. Изобрести и сконструировать оптический прибор для обращения солнечного света в электричество.</p>	<p>Получить энергию в степи и во всем мире из любой точки освещенной бесконечности.</p>	<p>Вермо, Кемаль, Босталоева. Не менее года.</p>	<p>Установление технического большевизма в "Родительских Двориках" и на всем открытом пространстве земли.</p>
<p>6. Сконструировать животное-водческий камбайн на автомобильном шасси.</p>	<p>Быстрое обдаивание отдаленных гуртов и доставка сливок на совхозную маслобойку.</p>	<p>Виссковский, Кемаль. 2 месяца.</p>	<p>18 тысяч рублей в год.</p>

В седьмом, восьмом и девятом пункте плана назначались прочие виды работ. Всякое мероприятие по этому плану должно иметь помощь и консультацию со стороны Института Неизвестных Топливных Масс, КрайВ30, Института Дешевой Энергии, Варнитсо, Общества Глубокого Бурения и прочих соответствующих организаций.

* * *

Через месяц или полтора в "Родительские Дворики" прибыло оборудование и материалы, занаряженные Босталоевой в крайцентре, и то потому, что Босталоева сама нашла свои заблудившиеся на железной дороге грузы и привела вагоны на ближайшую станцию. Иначе бы грузы могли вовсе осиротеть, приобрести безвестное состояние и их сейчас же присвоили бы себе агенты многочисленных строек, населявшие в то время все узловые пункты транспорта, эти агенты-снабженцы непрерывно глядели волчьими глазами на потоки чужих грузов и только свою стройку считали действительно решающей для судьбы социализма, - поэтому они прямо удивлялись, что

кого-то еще снабжают, кроме них, и способствовали превращению блуждающих грузов в бесхозное сиротство, чтобы переадресовать их себе, пользуясь суетой всеобщего строительства.

Около того же времени в совхоз приехали два инженера из края: электрик Гофт и гидрогеолог Даев. Гофт был из института Неизвестных Топлив, а Даев от Варнитсо и Общества Глубокого Бурения. Совместно с инженером Вермо они довели конструкторские идеи вольтового бурения до чертежного выражения и поправили различные упущения в устройстве башни, брикетного пресса и ветродвигателя.

Инженер Гофт уже не хотел уезжать из совхоза и остался в нем до окончания всех работ, а Даев и Босталоева отправились скорее в краевой город и в Ленинград, дабы найти подходящие электросварочные агрегаты; эти агрегаты были нужны для немедленного переустройства их на другую службу. Один из агрегатов должен успеть перерезать камни в карьере и сварить из этих камней жилища еще до наступления зимы.

Контора переустройства совхоза помещалась в сенях электросилошной башни, где все чертили, считали, спали и бредили от ночного воображения. Кемаль взял себе на учет такой бытовой недостаток и отправился в колхоз к Федератовне. Через четверо суток он привез из колхоза на волах шесть пустых изб, принадлежавших ранее кулакам, тем, что прятались в колодцы от старухи. Эти избы лишь в слабой степени повредились от транспорта и вполне оказались пригодными для размещения техперсонала и для ночлега технических бригад.

Инженер Вермо развернул фронт работ сразу - по всем сопротивлениям; главный же удар он сосредоточил на достройке и оборудовании электрической мясной башни, где производил монтаж лично.

Но рабочих было всего шестнадцать человек, и люди так умаривались, что не могли смыть водою свой пот и им нехватало сна для забвения усталости.

Однажды ночью Вермо сидел за столом и, скучая по Босталоевой, рассматривал ее книги. Вокруг Вермо спали люди на полу, от них пахло отработанной жизнью, их рубашки заживо сотлели на постоянно греющем теле и рты были печально открыты, чтобы освежиться воздухом ночи и продуть насквозь свое туловище, зашлакованное смертельными скоплениями немощи.

Кемаль лежал навзничь с омертвевшим видом лица; он сегодня в одиночку таскал бревна на верх башни, а вчера забивал якорные сваи для крепления ветродвигателя от зимних бурь.

В своем дыхании он плавно поднимал и опускал ребра, обросшие жилами тяжелой силы, и лицо его, хотя и было покрыто печалью утомления, но все же хранило в своем смутном выражении нежность надежды и насмешку над грубой тягостью жизни, - в этом Кемаль, хотя и незаметно, но походил на Босталоеву.

"Зачем он таскает бревна, зачем он не повесил блока и не заставил вола втянуть бревно на канате? - думал Вермо в тишине большого пространства. - Зачем вообще нам труд, как повторенье однообразных процессов: нужно заменить его непрерывным творчеством изобретений!"

Погонщик умрищевского вентиляторного вола спал вниз лицом. Он трудился по рытью земли для различных установок. Вермо решил завтра же сделать несколько конных лопат и рыть грунт силой вол или даже приспособить под это дело ветер.

Вермо не знал, есть ли у Кемалья и погонщика вентиляторного вола другая жизнь, эстетические вкусы и накопления на сберкнижке. Они были наверно безродными и превращали будущее в свою родину.

В вещах Босталоевой Вермо нашел "Вопросы Ленинизма" Сталина и стал перечитывать эту прозрачную книгу, в которой дно истины ему показалось близким, тогда как оно на самом деле было глубоким, - потому что стиль был составлен из одного мощного чувства целесообразности, без всяких примесей смешных украшений, и был ясен до самого горизонта, как освещенное простое пространство, уходящее в бесконечность времени и мира.

Читая, Вермо ощущал спокойствие и счастливое убеждение верности своей жизни, точно старый серьезный товарищ, неизвестный в лицо, поддерживал его силу, и все равно, даже если бы погиб в изнеможении инженер Вермо, он был бы мертвым поднят дружескими руками на высоту успеха - и уцелевшие товарищи добудут из глубины земли материнское море и свет солнца превратят в электричество.

Под утро Вермо вышел наружу. Вращающаяся земля несла здешнее место навстречу солнцу, и солнце показывалось в ответ. Но Вермо не вдумывался в это явление, вдумываясь обычно во все, что попадалось; он слишком начитался за ночь и чувствовал себя сейчас недостаточно умным. Он отошел дальше в степь и лег в нее вниз лицом с настроением своей незначительности.

Откуда-то из участка к Вермо подошел Високовский. Он сказал, что снял с пастбищ двенадцать пастухов в помощь техническим бригадам, а коров поручил наиболее сознательным быкам; он уже делал опыты самоохраны и самокормления стад, приучая отдельных быков к определенному поголовью коров, организуя этим шагом бычьи семейства. И что же? - быки дерутся между собой, каждый желая обеспечить для своих коров лучшую траву и водопой, а коровы мирно пасутся и полнеют в теле. Если перейти на способ бычьих семейств, то можно вдвое сократить степной штат людей.

Вермо, не слушая, глядел на Високовского.

Затем он возвратился в избу, где по-прежнему спали рабочие; но лица их, освещенные зарею, приняли торжественное выражение. Вермо понял, насколько мог, смысл революции: их мысль - это большевистский расчет на максимального героического человека масс, приведенного в героизм историческим бедствием, - на человека, который истощенной рукой задушил вооруженную буржуазию в семнадцатом году и теперь творит сооружение социализма в скудной стране, беря первичное вещество для него из своего тела.

Эта идея неслышно растворена в книгах, прочитанных Вермо ночью, - потому что ее нельзя услышать мелким сердцем индивидуалиста или буржуа.

В тот же день Вермо составил бригаду в семь человек и сам стал в ее ряды. Он хотел осуществить "седьмое условие" Сталина; ставку на творческого пролетарского человека, - с тем, чтобы

изобретение стало способом работы, чтобы не Кемаль таскал бревна, а ветер или вол; и чтобы работа шла на смысле, а не на грустном терпении тяжести, как работает мещанин капитализма.

К концу первой десятидневки в бригаде "седьмого условия" почти не применялся черный труд - его сменили деревянно-веревочные и железные приспособления, движимые животной силой волов.

* * *

Через два месяца, уже осенью, прибыли из Ленинграда переделанные электросварочные агрегаты и другое необходимое оборудование. Одновременно с многочисленными машинами приехали Босталоева и инженер Даев.

Босталоева ехала от железной дороги через колхоз и привезла с собой смирившегося Умрищева, которого выслала Федератовна в совхоз для проверки в рабочем котле.

Умрищев был давно исключен из партии, перенес суд и отрекся в районной газете от своего чуждого мировоззрения. Он ходил теперь робко по земле, не зная, где ему место, долгие дни жил при Федератовне в качестве домашнего хозяина, чему Босталоева по невыясненной причине радовалась и смеялась на протяжении всей советской дороги в степном фазтоне, а Умрищев только сторонился от нее на узком месте сиденья.

Босталоева была несколько дней в Москве, в Скотоводобъединении, и привезла оттуда новость для всех рабочих: в "Родительских Двориках" организуется образцовый опытно-учебный мясокомбинат. Этот вопрос был поднят Крайкомом партии и теперь всюду согласован и обдуман.

Спустя еще некоторое время в "Родительские Дворики" съехалось большое число людей из Москвы и краевого центра: они должны были участвовать в организации учебного мясокомбината и быть свидетелями первого в мире бурения земли вольтовой дугой, чтобы прожечь грунт до воды.

Инженер Вермо, как только получил вольтовый агрегат, уехал с ним в степь неизвестной дорогой, взяв с собой одного Кемалья.

Возвратившись через четверо суток, Вермо установил агрегат среди новообразующейся усадьбы совхоза; запустил мотор и направил фронт сияющего, шарообразного пламени вертикально в недра земли.

Делегация Москвы и края уселись к тому времени на скамьи вокруг воющего агрегата; столб едкого газа поднялся над плавящейся породой, обращающейся в магму, затем - через полчаса - раздался взрыв и наружу вырвался вихрь пара: это пламя вошло в массу воды и пережгло ее в пар. Вермо выключил агрегат.

Каждый из бывших здесь освидетельствовал сделанную скважину: она была неглубока, около трех метров, поскольку совхоз стоял в низменности, внутренняя поверхность скважины покрылась расплавленной, застывшей теперь породой, что сообщало крепость колодцу от обвала, и внизу светилась вода. Затем Вермо и Кемаль, настроив пламя в острую форму, стали резать его лезвием заранее заготовленные самородные камни и тут же сваривали их вновь в монокоты, слагая сплошную стену, чтоб было ясно, как нужно строить теперь жилища людям и приют скоту.

В глубокую осень из Ленинграда в Гамбург отплыл корабль. На борту корабля находился инженер Вермо и Надежда Босталоева. Они имели командировку в Америку, сроком на полтора года, чтобы проверить там в опытным масштабе идею сверхглубокого бурения вольтовым пламенем и научиться добывать электричество из пространства, освещенного небом.

На берегу их провожали две фигуры небольших людей: Федератовна и Умрищев. Старушка приехала издалека, чтобы проводить Босталоеву и поплакать по ней на вечное прощанье, потому что она уже не надеялась прожить полтора года: слишком активно билось ее сердце всю жизнь, и оно устало.

Федератовна была одета в шляпу, которая сидела на ее голове, как чертополох; маленький смирный Умрищев держал под руку старую женщину и вытирал глаза белым платочком от сочувствия. Он еще в колхозе полюбил Федератовну за оживленность, за открытую страстность сердца, за беспощадность ее идейного духа, и старушка, будучи положительной женщиной, увлеклась постепенно терпеливым отрицательным старичком, так что они поженились в течение времени.

Корабль уплыл в водяные пространства земли. Вермо и Босталоева отошли от борта. Старичок и старушка остались на далеком берегу и долго плакали, глядя на горизонт, а потом приступили к взаимному утешению друг друга.

Вечером того же дня, ложась спать в гостинице, Умрищев долго кряхтел, предполагая и боясь высказаться.

- Мавруша, а Маврушь! - обратился он после томления к Федератовне.

- Чего тебе, старичок? - охотно спросила Федератовна.

- А что, Маврушь, когда Николай Эдвардович и Надежда Михайловна начнут из дневного света делать свое электричество, - что, Маврушь, не настанет ли на земле тогда сумрак?.. Ведь свет-то, Маврушь, весь в проводе скроется, а провода, Маврушь, темные, они же чугунные, Маврушь!..

Здесь лежащая Федератовна обернулась к Умрищеву и обругала его за оппортунизм.

Tout droit réservés à l'expection de la langue russe:

© Edition Albin Michel, 1976, 22, rue Huyghens, 75014, Paris
Langue russe: © revue "Echo", 1980

Михаил ГЕЛЛЕР

СОБЛАЗН УТОПИИ

Решающие жизнь истины существуют тайно в заброшенных книгах.

Андрей Платонов

В письме жене Андрей Платонов, молодой мелиоратор и начинающий прозаик, писал: "Мои идеалы *однообразны и постоянны*. Я не буду литератором, если буду излагать только свои неизменные идеи. Меня не станут читать. Я должен опошлять и варьировать свои мысли, чтобы получились приемлемые произведения. Именно - опошлять! А если бы я давал в сочинения действительную кровь моего мозга, их бы не стали печатать". Оказалось, это невообразимо трудно. Несмотря на старания, Платонов не смог не давать в свои сочинения действительную кровь своего мозга - и его не печатали. А если кое-что пропускали, то сразу же потом устраивали публичное избиение - в назидание Платонову и другим.

Через четверть века произошла реабилитация писателя. В 80-ю годовщину со дня рождения А. Платонова его признали классиком. Но положение не изменилось. Классиком автора "Чевенгура" считали уже в 30-е годы. Первая большая критическая статья о Платонове, написанная в 1930 году, называлась "Ошибки мастера". Сомнений в замечательном таланте не было ни у кого. Несмотря на это, лучше сказать, из-за этого, Платонова не печатали. В 70-е годы судьба Платонова стала еще трагичнее: его начали печатать в большом количестве, вышел даже двухтомник "Избранных произведений". Но многочисленные сборники произведений Платонова включают одну и ту же подборку разрешенных к публикации текстов, на основании которых писателю и присвоено почетное звание советского классика.

Один из героев "Котлована" - Жачев - передвигается на тележке, ибо на войне он потерял ноги. Андрею Платонову обрубили руки, ноги, трепанировали череп и поставили на тележку, чтобы можно было двигать писателя в любом, нужном сегодня направлении.

Всю свою жизнь Платонов писал одну книгу, с одними и теми же героями: они делали революцию, воевали в гражданскую войну, строили плотины, электростанции и каналы, водили паровозы, любили, умирали и убивали, веря, что в конце пути найдут счастье. Только прочитав эту книгу - познакомившись с главными произведениями Андрея Платонова - можно понять писателя, понять, что он старался всю свою трудную жизнь сказать. Кое-кто утверждает, что достаточно капли воды, чтобы узнать состав океана. Но даже река воды не дает представления об океане, не видевшему его.

Всю свою жизнь Платонов писал одну книгу на одну тему: о соблазне утопии. О том, как мираж счастья, которое за следующим поворотом дороги, заставлял людей делать революцию, убивать и умирать, в поисках счастья терять человеческие чувства, из-за любви к дальнему губить любовь ближнего.

Первой главой этой "книги" были произведения, посвященные ленинской революции: "Ямская слобода", "Сокровенный человек", "Иван Жох", роман "Чевенгур", собравший, как в линзе, все темы, сюжеты, героев главы. Сюжет второй главы - сталинская революция, год "великого перелома". Платонов размышляет об этом времени в "Котловане", "Впрок", "Усомнившемся Макаре", в "организационно-философских очерках" "Че-Че-0" (написаны совместно с Бор. Пильняком), в пьесах "14 красных избушек" и "Шарманка" и повести "Ювенильное море". Для писателя нет разрыва между двумя революциями - ленинской и сталинской: они взаимосвязаны, вытекают одна из другой, обе одного и того же порядка. Обе соблазняют утопией.

Достаточно беглого знакомства с оглавлениями платоновских книг, вышедших в Советском Союзе за последние полтора десятка лет, чтобы понять смысл ампутации, произведенной над писателем. Из "первой главы" к печати не допущен "Чевенгур", "вторая глава" запрещена целиком. Но в разных издательствах на Западе - лучше или хуже - запрещенные произведения Платонова напечатаны. И к читателю - понятно, с трудом - дойти могут. Только "Ювенильное море" находилось в особом положении. Переведенная на французский язык и опубликованная в 1976 году в Париже¹, повесть никак не могла дожидаться русского издания. Ее нынешняя публикация завершает издание всех основных произведений Платонова.

"Ювенильное море" занимает в творчестве Платонова особое место. Герои повести пришли в нее из других произведений Платонова: Николай Вермо - бродяга и фантазер, мастер на все руки и философ - родной брат Ивана Копчикова из "Родоначальники нации или беспокойные происшествия", Михаила Кирпичникова из "Эфирного тракта", Воцева из "Котлована" и Фомы Пухова из "Сокровенного

¹ Platonov. La Mer de Jouvence. Traduit du russe et préfacé par Annie Epelboin. Suivi de "André Platonov" par Iossif Brodski. Edition ALBIN MICHEL. Paris, 1976, pp.184.

человека", Федора Федоровича из "Че-Че-0", "душевного бедняка" из бедняцкой хроники "Впрок". И как всегда у Платонова, имя героя отражает двойственное отношение к нему писателя - приязнь и неприязнь, одобрение и осуждение: если заменить в фамилии Николая одну букву, можно получить - верно, заменив другую, можно получить - дермо. Как сестра, похожа Надежда Босталоева на Софью Александровну из "Чевенгура" и на многих других женщин, украшающих страшный мир, изображаемый писателем. Зоотехник Високовский - близнец инженера Прушевского из "Котлована": оба они представители технической интеллигенции, которая верно служит пролетариату и страдает от того, что пролетариат не хочет ее любить. Партбюрократ Адриан Умрищев как две капли воды подобен "сусликам" из "Че-Че-0", градским идеологам бюрократии, председателю колхоза из "Впрок", организовавшему "едоцкую кампанию", ибо мужики, обозлившись на что-нибудь или послушавши кулаков, "станут не есть". Действие "Ювенильного моря" также происходит в тех местах, где обычно живут герои Платонова: в "юго-восточной степи Советского Союза", там, где она переходит в пустыню. Наконец, дело, которым занимаются персонажи "Ювенильного моря", привычное дело героев Платонова: они строят утопию, сооружают коммунизм в кратчайший срок.

В первых рассказах молодого Платонова, когда соблазн утопии еще сильно кружил ему голову, герои летят к Солнцу, Луне, переделывают земной шар и вселенную, потом строят коммунизм в одном, отдельно взятом уездном городе Чевенгуре, затем копают котлован под общий дом. В "Ювенильном море" платоновские герои пробиваются в глубь земли, к "материнской воде", к морю юности. Ювенильная вода должна утолить жажду пустыни и людей. Принципиальное отличие "Ювенильного моря" от других произведений Платонова в том, что это - книга со счастливым концом. Судьба всех других утопий была трагичной - их строители сходили с ума и умирали, утопии погибали или оставались недостроенными. В "Ювенильном море" рай на земле сооружен. Но Платонов остается Платоновым: главные строители - Николай Вермо и Надежда Босталоева уезжают в Америку. В командировку.

Особое место "Ювенильного моря" в творчестве Платонова связано с тем, что писатель хотел создать "приемлемое произведение", подобное тем, какие стали в это время изготавливаться советскими писателями в растущем из года в год количестве. Платонов задумывает свою книгу как производственную повесть о делах и днях мясовохоза номер сто один, о проблемах совхозного и колхозного строительства в данный текущий момент, об использовании новой техники, о кулаках, которые не перестают вредить колхозам. Можно думать, что были две причины, побудившие Платонова писать "приемлемое произведение".

Одна причина была личной - в 1929 году писателю сильно досталось за рассказ "Усомнившийся Макар", а в 1931 году бедняцкая хроника "Впрок" была объявлена "кулацкой вылазкой". К этому времени была уже написана повесть "Котлован" - самое беспощадно правдивое изображение коллективизации в советской литературе, - на публикацию которой не могло быть никаких надежд. Андрей Платонов пишет "Ювенильное море", которое должно было стать как бы

"Анти-Котлованом", изображением осуществленной Утопии. "Ювенильным морем" писатель думал искупить вину "Котлована", "Впрж", "Усомнившегося Макара".

Другая причина была - общественная. Платонов не любил давать в своих произведениях точных дат, но всегда ставил веку, позволяющую определить время действия и время написания. В "Ювенильном море" такая временная вежа - "седьмое условие" Сталина, которое осуществляет Вермо. 23 июня 1931 года Сталин перечислил "шесть условий" развития промышленности. Вся страна в радостном возбуждении начала изучать, долбить наизусть и без конца повторять "шесть условий Сталина". Повесть не могла быть написана до этой даты, но не могла быть написана и долгое время спустя, ибо вскоре на смену "шести условиям" товарищ Сталин дал новые лозунги, позволявшие в кратчайшее время преодолевать различные трудности и идти вперед.

Время написания "Ювенильного моря" имеет чрезвычайно важное значение для понимания замысла писателя и смысла написанного им. Историки литературы любят изучать биографии писателей, устанавливая точные биографические и библиографические даты. Это имеет значение для каждого писателя. Для советского писателя это имеет решающее значение. Ибо давление, оказываемое на него, не может быть сравнено ни с чем подобным в истории. И начинается очень рано. В 1925 году В. Вересаев жаловался: "Общий стон стоит почти по всему фронту современной русской литературы. Мы не можем быть сами собой. Нашу художественную совесть все время насилуют. Наше творчество все больше становится двухэтажным - одно мы пишем для себя, другое - для печати". Но это жаловался попутчик. Тяжело, однако, приходилось и пролетарским писателям. Ведущий пролетарский бард, Демьян Бедный, в конце 20-х годов декларирует: "Кто скажет, что я обманщик? Я просто слишком был ретив. Но я, однако, не шарманщик, чтоб сразу дать другой мотив".

С начала 30-годов требовалось быть шарманщиком и сразу же давать "другой мотив" - по первому требованию. Известный литературовед-марксист проф. Переверзев отвергал как недостаточную даже идею "социального заказа", он утверждал - "социальный приказ": "Мы просто как власть имущие приказываем петь, кто умеет петь нужные нам песни, и молчать тем, кто не умеет их петь".

Сталинская революция в деревне сопровождалась "культурной революцией" - экономическому перевороту сопутствовал переворот духовный. Письмом в "Пролетарскую революцию" (1931) Сталин заявил о том, что берет на себя лично руководство наукой, культурой, искусством, литературой - духовной жизнью страны. Комментируя опалу Демьяна Бедного, Троцкий заметил, что время, когда достаточно было продаваться оптом - прошло, необходимо было продаваться в розницу, следовать за каждым зигзагом политики, стать шарманкой. И советские писатели в своем подавляющем большинстве сдаются. С мазохистическим восторгом они хлещут себя и униженно просят класс-гегемон принять их в ряды марширующих к счастью. "Мы сами готовы горячим лечь в плавильную печь", - поет поэт Уткин. Незадолго до самоубийства Маяковский формулирует задачу советского писателя: "Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне".

"Ювенильное море" - попытка Платонова смирить себя, задавить "собственную песню". Он делает попытку стать подлинным советским писателем, писателем нового типа. Еще не изобретен термин: социалистическая литература, но ведущий критик этого времени, Г. Лелевич, формулирует ее суть: "Искренность художника не делает произведение художественным, если она идет вразрез с объективной действительностью". Платонов пробует пустить "искренность" маршировать в ногу с "объективной действительностью".

Писатель вкладывает в котел повести все требуемые ингредиенты: мясосовхоз, работа которого развалена бюрократом - номенклатурным парработником; колхоз, в котором нечего есть, но потому, что верховодят в нем кулаки; убийство доярки, желавшей разоблачить пробравшегося врага, и немедленный расстрел врага; положительные работники райкома, помогающие преодолеть временные трудности и выполнить "план технической реконструкции". Наконец, есть в повести ингредиент, без которого с 1931 года советская литература не варилась - товарищ Сталин: Вермо читает "Вопросы ленинизма", "прозрачную книгу, в которой дно истины ему показалось близким, тогда как оно на самом деле было глубоким..." Вермо приходит в восторг от "стиля" сталинской книги.

Несмотря на наличие всех необходимых продуктов и специй - хлеба не удалось. Вышло не то блюдо, какое было заказано - самому себе писателем.

Иосиф Бродский в чрезвычайно интересном послесловии к французскому изданию повести пишет: "Ювенильное море", без всякого сомнения, "национальное по форме и социалистическое по содержанию". Это верно, таков был замысел автора. Получилась же повесть - социалистическая по форме и фантастическая по содержанию. Писатель заминировал каждую фразу, каждое слово. И мины взрываются, обнажая, под социалистической формой, фантастическое содержание осуществленной утопии. Слово у Платонова не подчиняет "искренность" "объективной действительности", а обнажает действительность, рисует реалистическую картину фантастического мира. Платонов, по выражению Иосифа Бродского, пишет "на языке данной утопии".

Андрей Платонов, вслед за Николаем Федоровым, считал, что главная причина всех человеческих несчастий - разделение мира на "ученых" и "неученых", на людей физического труда и умственного, на "дураков" и "умников". Революция показалась писателю силой, которая ликвидирует пропасть между "учеными" и "неучеными" и объединит человечество в одну семью. Но очень скоро писатель "усомнился". Он обнаружил, что ничего не меняется, если прежние "дураки" становятся "умниками", если новые "умники", отвергая реальность, строят утопию.

Герои "Ювенильного моря" - мечтатели и фантазеры: Вермо мечтает заменить на совхозных полях коров бронтозаврами и с помощью электричества пройти в глубь земли до "материнской воды", техник Високовский убежден, что засыпав "пропасть между городом и деревней, коммунистическое естествознание... перейдет пропасть между человеком и любым другим существом". Но, как замечает Босталова, "самая далекая ваша мечта все равно не опередит перспектив нашей партии..." И это - верно. Присланный совхозу государ-

ственный план увеличения за один год поставок мяса в два раза - фантастичнее всех бредовых мечтаний платоновских "чудаков". Реальность тесно соседствует с фантастикой: для получения гвоздей, необходимых для "установления технического большевизма", Надежда должна целовать секретаря райкома. Она вспоминает при этом, что для получения кровельного железа ей "пришлось сделать аборт". В реальном мире фантастики, глядя вслед любимой женщине, Вермо думает, "сколько гвоздей, свечек, меди и минералов можно химически получить из тела Босталоевой". Творца новой утопии - Сталина - Платонов впервые вспоминает по имени в бедняцкой хронике "Впрок". В "Усомнившемся Макаре" было по-платоновски завуалированное противопоставление отца революции и его преемника: рабочий Петр читал, обнаруженную в сумасшедшем доме, статью Ленина, направленную против Сталина. Два года спустя Платонов называет Сталина естественным наследником Ленина. Бедняк Упоев беседует во сне с Лениным и просит его: "Ты, Владимир Ильич, главное не забудь оставить нам кого-нибудь вроде себя - на всякий случай". И наяву бедняк Упоев сообщает: "Нам нужен живой - и такой же, как Ленин... Засею землю - пойду Сталина глядеть: чувствую в нем свой источник". В "Ювенильном море", восславив стиль Сталина, Платонов сравнивает "спокойствие и счастливое убеждение", получаемое после чтения "Вопросов ленинизма", с поддержкой, которую может дать "старый серьезный товарищ, неизвестный в лицо..." Как раз в это время портреты Сталина стали глядеть на советских людей со страницы каждой газеты, журнала, книги, со стен всех кабинетов и домов. Не ограничиваясь чтением произведений товарища Сталина, Вермо создает бригаду для осуществления "седьмого условия Сталина". Но сам Сталин сформулировал только шесть. Что-либо добавлять к этому - было кощунством, как добавление одиннадцатой заповеди к десяти, данным Моисею.

Создав язык, адекватный описываемой им утопии, Платонов не смог "смирить себя", несмотря на старания. Язык оказался сильнее воли писателя. Платоновский язык в советской литературе уникален. Ряд его элементов можно найти и у других писателей. Все вместе и в особой платоновской структуре они сплелись в инструмент, выработанный Андреем Платоновым. Драгоценнейший, несмотря на отрывочность и скудность, материал - письма писателя жене - позволяет утверждать, что Платонов создавал свой литературный язык с первых шагов в литературе. В конце 20-х годов удивительное орудие было закалено и отточено. Его элементами были Библия, сочинения Н. Федорова, марксистская литература, газетный жаргон, народный язык. Литературоведы, начавшие изучение языка Платонова (совершенно понятно, что возможно это лишь при анализе всех текстов писателя), ведут спор: сказ или не сказ платоновский язык? Если считать моделью сказа язык Зоценко, то можно согласиться с тем, что Платонов исходил из другой концепции. Если считать сказом прием, позволяющий писателю воздвигать с помощью осолобого языка барьер между собой и героем, позволяя читателю принимать участие в творческом процессе, то несомненно - язык Платонова - сказ.

Платонов позволяет говорить своим персонажам: он вне их, читатель должен сам вникать в подлинный смысл произносимого сло-

ва. Но в то же время писатель в своих персонажах: их язык - это язык, созданный им, пережитый им.

Язык "Ювенильного моря", как и других произведений Платонова, своеобразный код, полная расшифровка которого возможна при знакомстве со словесным материалом, использованным писателем.

Особенность языка утопии, который можно назвать советским языком, в отличие от русского, заключается в том, что сохраняя неизменной свою структуру, он очень быстро и очень часто меняет словарный запас. Изменение линии, очередной поворот влекут за собой появление новых лозунгов, директив, слов. Язык "Ювенильного моря" - язык конца 20-х - начала 30-х годов. "Соваться пришел?" - спрашивает Умрищев Николая Вермо. И советский читатель в 1931-32 годах знал, что это - враг, ибо товарищ Сталин в речи о задачах хозяйственников 4 февраля 1931 года потребовал от членов партии - "вмешиваться", то есть соваться, во все дела. "Мы их кокнем", заявляет старушка Федератовна, выбравшая себе такое отчество из любви к республике. То же самое говорил, примерно в это время Владимир Маяковский, мечтавший: "Мы их всех, конечно, скрутим", а чуть позднее то же самое скажет Максим Горький о враге, который не сдаётся. Вышедшую в 1928 году "Диалектику природы" Энгельса цитирует Умрищев, рекомендует кооператору Священному, у которого прокисли моченые яблоки и стала горькой морковь, продавать - диалектически - "яблоки, как огурцы, а морковь, как редьку!"

Андрей Платонов потерпел сокрушительную неудачу - 50 лет лежала ненапечатанной на русском языке его повесть. Андрей Платонов одержал замечательную победу: спустя 50 лет после написания его повесть остается молодой, раздражающей, радующей, вызывающей множество мыслей о судьбе страны, народа, языка, литературы. О судьбе писателя, желающего - всего-навсего - рассказать о том, что он видит: о чудовищной реальности утопии.

Прошло полвека после написания "Ювенильного моря", минуло почти 30 лет после смерти писателя. И вышла книга, которая, я уверен, доставила бы Андрею Платонову огромное удовлетворение. На русском языке вышли воспоминания Никиты Хрущева.¹ Никита Сергеевич говорил свободно и раскованно в микрофон, рассказывал о жизни и деятельности вождей и учителей. И оказывается: язык Хрущева, Сталина и других строителей социалистической утопии - это подражание языку, созданному Платоновым. Хрущев говорит точно так, как говорит Умрищев, Чепурный, Уповев. И он, и они говорят на языке утопии. Вымышленный Андреем Платоновым язык оказался подлинным языком тех, кто соблазнял утопией и был ею соблазнен. Реальность еще раз обернулась фантастикой, а фантастика реальностью. Андрей Платонов еще раз оказался прав.

¹Никита Хрущев - Воспоминания. Избранные отрывки. Составитель В. Чалидзе. Нью-Йорк, 1979, Chalidze Publications.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ МАКСИМОВЫМ

ВОПРОС: Владимир Емельянович, первый вопрос, который хотелось бы вам задать - и как писателю, и как главному редактору "Континента", журнала, куда стекается все основное из России и из русского рассеяния: что вы думаете о русской литературе сегодня? Находится ли она в расцвете, в упадке или вы видите обычный литературный процесс?

ОТВЕТ: Явление Солженицына и все, что ему сопутствовало в нашей литературе (и до, и после), вобрала в себя такой мощный заряд творческого потенциала общества, что определенный спад был просто неминуем. Поэтому в последние годы в литературе наблюдалось скорее количественное, чем качественное нарастание творческого процесса: природа, так сказать, отдыхала. Но буквально в самое последнее время явно почувствовалось начало нового подъема, как в свободной, так и в подцензурной литературе. И в той, и в другой появились первые многообещающие имена, из которых я в первую очередь выделил бы Валентина Распутина, Евгения Попова, Бориса Вахтина. Хотя имен этих гораздо больше.

ВОПРОС: Какие основные движения в русской литературе, прошлой и нынешней, вам ближе всего? Что вас, кроме всего, заставляет особенно радоваться?

ОТВЕТ: Если "движением" можно назвать линию от Пушкина, через Гоголя и Достоевского к Блоку, а затем к Пастернаку, то оно - это движение - наиболее мне по сердцу. Радуюсь же я тому, что движения этого не удалось ни прервать, ни остановить. Феномен Солженицына лучшее тому свидетельство. А сколько за ним и вокруг!

ВОПРОС: *Каково, на ваш взгляд, взаимное влияние жизни людей и литературы – вообще и русской в частности?*

ОТВЕТ: Разумеется, два эти понятия тесно взаимосвязаны, с той лишь разницей, что не отдельный человек, а человек как общественное явление может повлиять на литературу, а литература влияет именно на *отдельного* человека, но никак не на общество в целом.

ВОПРОС: *Ваше отношение к юмору в большой литературе и к литературе юмора, а также к литературной игре, преувеличению, к дерзости и к дерзостям.*

ОТВЕТ: Может, вам это покажется парадоксальным, но в своих личных вкусах я как раз поклонник преимущественно такой литературы. Поэтому с удовольствием читаю наших так называемых модернистов, с одной лишь оговоркой – талантливых. К примеру, Лапенкова в предыдущем номере "Эха" читал с подлинным наслаждением. Кстати, и в живописи мне ближе всего – абстракции.

ВОПРОС: *Все говорят об угадке литературной критики и литературы о литературе. А в сущности, какова ее роль и кому она важна – культуре или книготорговле?*

ОТВЕТ: После Бахтина и Белинкова только книготорговле.

ВОПРОС: *Разговоры о языке вконец запутались. Великая русская литература всегда декларировала как главную свою задачу уход к живому развивающемуся языку. Официальная советская литература более или менее ловко лавирует между жизнеподобием языка и гладкописью, сделав род идеологического идола из нормативной грамматики, непрерывно, кстати, подвергаемой порче в официальных постановлениях. В зарубежной русской прессе царит тоска по некоему "правильному, чистому" русскому языку, очищенному от скверны нынешней живой жизни (эта тоска, правда, сопровождается почти всегда "несколько неграмматическим", по Достоевскому, знанием своего языка). Ваше отношение к этой проблеме. И есть ли проблема?*

ОТВЕТ: Мне кажется, что это было во все века. В таких борениях, с рядом поправок на специфические социальные структуры вроде фашизма или социализма, складывался язык любой литературы. Что же касается претензий части, подчеркиваю части, эмиграции, причем наиболее далекой от литературы, то они зачастую просто смешны. Одна из таких ревнительниц языковой чистоты, объясняя новому эмигранту, как найти таксомоторную стоянку, объясняется обычно следующим образом: "Берете улицу, делаете а гош, там стоит камьон". Если эдакий смоленско-парижский воляжук называется "русским языком", то, Боже, избавь нас от этой напасти!

ВОПРОС: *О вас иногда говорят как о реалисте. Мы считаем, что у ваших романов весьма сложная и не сразу расшифровываемая пропорция к реальности. Не хотелось ли бы вам что-либо сказать по этому поводу?*

ОТВЕТ: Отвечу вопросом на вопрос: а разве "Карантин" это тоже классический реализм? Но если говорить всерьез, то точнее всего обозначил мою форму французский критик и эссеист Пьер Равич. В рецензии на мой последний роман он назвал эту форму "метафизическим реализмом".

ВОПРОС: Ваш последний роман "Ковчег для незваных", написанный уже во Франции, вызывает, кроме прочего, такое размышление: при неизменной связи с живым материалом в нем есть, на наш взгляд, новая свобода распоряжаться кусками материала, более высокий градус обобщения – не кажется ли вам, что писателю в определенном возрасте эмиграция сообщает известную удаленность зрения, горючку для человека, но способствующую искусству?

ОТВЕТ: О если бы, если бы! Но может оказаться, что такого "высокого градуса обобщения" писателю-эмигранту может хватить только на одну книгу. Но, впрочем, проживем – увидим.

ВОПРОС: Сколько у вас переводных книг? На какие языки? Какое чувство у писателя, тесно связанного со своим языком, вызывают переводы его книг?

ОТВЕТ: Переводных книг (вместе с изданиями в странах Восточной Европы, осуществленными еще до эмиграции) у меня около пятидесяти, на языках от английского и немецкого до арабского и иврита. И хотя я не знаю ни одного чужого языка, мне всегда кажется, что переводы ужасны. По этому поводу у меня, по-моему, даже комплекс. Меня всегда преследует кошмар казуса, о котором мне рассказал Набоков. В одном из его ранних романов переводчик преобразовал "таксу с бородкой" в "таксу с бородавкой", а "даму с бородавкой" в "даму с бородкой". Легко было Набокову, он мог проверить качество перевода!

ВОПРОС: Что вы хотели бы добавить?

ОТВЕТ: Хотелось бы, чтобы возникающие сейчас за рубежом русские журналы подражали "Эху" в одном бесспорном его достоинстве – сочетании высокого качества публикаций (разумеется, с учетом специфичности его эстетики) с широтой и терпимостью по отношению к своим, если так можно выразиться, конкурентам.

Г. МИХАЙЛОВ, ФИЗИК, ВЫСТАВЛЯ
В СВОЕЙ КВАРТИРЕ РАБОТЫ
НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ЛЕНИНГРАДСКИХ
ХУДОЖНИКОВ.

ЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ:

- ① 4 ГОДА ЛАГЕРЕЙ.
- ② КОНФИСКАЦИЯ
ПРОВИНЦИВШЕЙСЯ КВАРТИРЫ.
- ③ УНИЧТОЖЕНИЕ
СОБРАННЫХ КАРТИН.

Художник БАРБ.
Рисунок из еженедельника
CHARLIE-HEBDO, 23.XI.79.
С разрешения Comité in-
ternational contre la ré-
pression.



В прошлом номере мы печатали письмо из Ленинграда. 46 человек просили помощи Георгию Михайлову. 10 сентября 1979 г. его судили за собрание современной живописи. Приговор: 4 года лагерей, конфискация имущества с уничтожением коллекции. Суд громкогласно приговаривает искусство к уничтожению — такого еще не было. Раньше мы говорили о несоблюдении советскими властями хотя бы собственных законов. Теперь они нашли нужные им законы для самих подлых актов: отобрать у коллекционера собрание икон, чтоб продать их за валюту (дело писателя Игоря Губермана), мешающие им картины уничтожить (дело Михайлова), бросать в тюрьму женщин (Татьяна Великанова), детей (сын шахматиста Корчного) и священников (Дмитрий Дудко). Они оделили законом то, что у нормальных людей всегда считалось самым тяжелым преступлением.

Францию, живущую интересами живописи, дело Михайлова потрясло более многих других. 78 художников, среди которых и очень известные, и даже коммунисты, поддержали призыв из Ленинграда. Мы приводим их письмо.

78 ARTISTES FRANÇAIS REPONDENT A L'APPEL DES 46 DE LENINGRAD

Nous décidons de répondre à l'appel des 46 de Leningrad.

Nous soutenons leur demande d'une commission internationale d'enquête composée de juristes et d'artistes pour obtenir « la révision et l'annulation » d'un verdict honteux à la fois en ce qu'il condamne un collectionneur à la prison et menace de destruction des œuvres d'art.

Nous demandons la libération de Mikhailov.

Nous demandons qu'aucune des pièces de sa collection ne soit détruite.

Etienne Martin	sculpteur	Piault	décoratrice
Augereu	peintre	Singier	peintre
Guignebert	peintre	César	sculpteur
Perrin	sculpteur	Allain	verrier
Chailier	sculpteur	Lemoal	peintre
Gali	sculpteur	Delahaye	sculpteur
Amor	peintre	Pignon	peintre
Tanguy	peintre	Manessier	peintre
Ramette	peintre	F. Zeller	peintre
Licata	peintre	Belanger	dessinateur
Fare	historien d'art	Honore	dessinateur
Lebel	sculpteur	Coutlis	dessinateur
Nogues	professeur à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts	Barbe	dessinateur
Berthaud	professeur à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts	Avone	dessinateur
Cardot	sculpteur	Bridenne	dessinateur
Marchand	architecte	Gebe	dessinateur
Viseux	sculpteur	Reiser	dessinateur
Perlin	peintre	Cabu	dessinateur
Silvestri	peintre	Gor	dessinateur
Nallard	peintre	Soulas	dessinateur
Lacomme	peintre	Nicoulaud	dessinateur
Christiqui	peintre	Sine	dessinateur
Jeanclous	sculpteur	Leveur	dessinateur
Lenormand	peintre	Teule	dessinateur
Gaillard	historien d'art	Plantu	dessinateur
Caron	peintre	Pichon	dessinateur
Gramier	graveur	Cavana	dessinateur
Gemignani	peintre	Kerleux	dessinateur
Guidé	peintre	Bianc-Dumont	dessinateur
Lagrange	peintre	Bilal	dessinateur
Delamarcké	peintre	Wiaz	dessinateur
Faure	peintre	Mezieres	dessinateur
Ferre	professeur à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts	Legendre	dessinateur
Charpentier	sculpteur	Gourmelin	dessinateur
Hadad	peintre	Solo	dessinateur
Potter	peintre	Regy-Frank	dessinateur
Walberg	sculpteur	Cardon	dessinateur
Yankel	peintre	Michou	architecte
Mege	architecte	Delpont	dessinatrice-décoratrice.

Pour aider au développement de la campagne en France et dans les autres pays pour libérer Mikhailov.

pour empêcher la destruction de sa collection

venir au COMITÉ INTERNATIONAL CONTRE LA REPRESSION

au CCP de Jean-Jacques Marie, secrétaire du Comité international contre la répression, n° 15 872 99 Paris.

COMITÉ INTERNATIONAL CONTRE LA REPRESSION, BP 221 75064 Paris Cedex 12.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Андрей Платонович Платонов (1895 - 1951)

Составитель В.МАРАМЗИН

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Полной и объективной библиографии Андрея Платонова, а также библиографии критических публикаций о нем до сих пор не существует. Первой попыткой в свое время была брошюра: *А. П. Платонов (1899-1951). Материалы к библиографии. Составитель Н. М. Митракова. Воронежская обл. б-ка им. Н. С. Никитина. Фундаментальная б-ка Воронежского гос. ун-та. Центрально-Черноземное книжное изд. Воронеж, 1969 (тираж 1500 экз.).*¹ Составитель обнаружила едва треть всего опубликованного Платоновым и куда меньше - о нем. К сожалению, и обнаруженное не свободно от неточностей, опечаток, даже ошибок. Частично это было вскоре исправлено (при участии составителя настоящей библиографии) в другом воронежском издании: *Творчество А. Платонова. Статьи и сообщения. Изд. Воронежского ун-та. Воронеж, 1970 (тираж 5000 экз.),* в разделе: *Литература о жизни и творчестве А. Платонова. Составитель - Н. М. Митракова, стр. 231-240 (охватены годы 1922-1968).*² Список также не был полным, к тому же самое интересное - публикации самого Платонова - в этом сборнике отсутствовало. И наконец, вышла довольно обширная библиография в серьезном, хоть тоже малотиражном издании: *Русские советские писатели - прозаики. Библиографический указатель. Том 7 (дополнительный). Часть вторая. Гос. Ордена Труда. Красного знамени Публичная б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Изд. "Книга", М. 1971 (тираж 5000 экз.).*³ История этого издания поучительна. Ленинградская Публичка в течение двух десятилетий понемногу готовила и, том за томом, выпускала (с немалыми трудностями) указатель по русским советским писателям, в который высочайше не велено было вклю-

чать многих и многих, в том числе Платонова. Один лишь список русских писателей тех лет, да еще с указанием даты смерти, является крамолой. Лишь в 71 году Платонов вошел наконец в дополнительный том, вместе с народившимися к тому времени молодыми (Аксенов) и такими же, как он (Бруно Ясенский). Заметим попутно, что список поэтов еще более щекотлив и к середине 70 годов еще не было даже решено, кто удостоится в него войти. Услышав о готовящемся издании, я отнес в библиотеку все свои материалы, которые были частично использованы. Однако и это издание, будучи советским, не явилось ни полным, ни строго объективным. Стандартная, обязательная для всех схема с разделами типа "Горький и импрек", наличие цензуры даже на библиографию, стремление обойти острые углы, не подвести все издание в целом, максимальный объем, отведенный каждому писателю (неудобно же Платонову дать больше места!) и тому подобное. В результате и этот, лучший по полноте указатель имеет пропуски, случайные и намеренные. Разумеется, русские зарубежные публикации не упоминаются вовсе. Библиография переводов Платонова отсутствует.

Предлагаемая библиография является самой полной из имеющихся и будет напечатана полностью до конца 1980 года. Большинство публикаций составитель видел сам и имел возможность их проаннотировать. Огромную помощь в составлении библиографии оказал американский славист Алексей Киселев. В течение многих лет из Ленинграда в США и обратно шли письма с новыми результатами, проверками различных упоминаний и изданий в разных библиотеках обеих стран. Все же ряд публикаций увидеть не удалось - в основном, из воронежского периода Платонова, так как газеты и журналы той поры не всегда сохранились либо недоступны для неимеющих официального разрешения исследователей. Знак (*) указывает публикации, которых составитель не видел. Все они снабжены указанием, откуда взяты сведения.

Составитель просит всех (в России и за рубежом), кто может дополнить библиографию произведений Платонова и литературы о нем (включая самые мелкие упоминания), направлять в наш журнал все имеющиеся материалы, указывая точные и полные сведения, не забывая даты и страницы. Наша библиография особенно нуждается в дополнении, начиная с 1972 года. Очень неполон список переводов. Недостаточно полон перечень зарубежных русских публикаций. Все дополнения будут напечатаны, а участники, если у них не будет возражений, названы. Мы заранее приносим всем горячую благодарность.

Считая Платонова быть может величайшим русским писателем нашего столетия, мы отдаем себе отчет, как важно читателю и исследователю иметь полную библиографию - ведь значительная часть его статей, стихов и прозы ни разу не переиздавалась с момента первой публикации. Текст многих переизданий безнадежно испорчен. Не переизданы многие из лучших вещей Платонова, такие как повесть "Впрок", рассказы "Государственный житель", "Усомнившийся Маркар", "Старик и старуха". Много напечатано только на Западе. Без серьезной библиографии нельзя по-настоящему войти в такого большого и сложного писателя.

В. Марамзин

¹ Сокращенно называется в дальнейшем "Материалы".

² Сокращенно называется в дальнейшем "Творчество".

³ Сокращенно называется в дальнейшем "Рус. сов. прозаики".

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПСЕВДОНИМЫ

1. А. П. (1918-1924) - ж. "Юный пролетарий" (Воронеж)
газ. "Красная деревня" (Воронеж)
газ. "Воронежская коммуна"
газ. "Репейник" (Воронеж)
"Наша газета" (Воронеж)
газ. "Трудовой клич" (Воронеж)::[По свед.
из "Рус. сов. проз."]
ж. "Железный путь" (Воронеж)
2. А. Пл. (1919-1921) - ж. "Железный путь"
ж. "Советский строитель" (Воронеж)
газ. "Красная деревня"
газ. "Трудовой клич" (Воронеж)
газ. "Воронежская коммуна"
3. П. (1920-1924) - газ. "Воронежская коммуна"
газ. "Красная деревня"
газ. "Трудовой клич" (Воронеж)::[По свед.
из "Рус. сов. проз."]
4. Тютень (1921) - газ. "Огни" (Воронеж)
5. А. П-в (1922) - газ. "Воронежская коммуна":: [По свед.
из "Рус. сов. проз."]
6. Елпидифор Баклажанов (1922) - ж. "Зори" (Воронеж)
7. П-в (1923) - газ. "Воронежская коммуна"
8. Иоганн Пупков (1923) - газ. "Репейник"
9. Ф. Человеков (1936-1941) - ж. "Литературное обозрение"
ж. "Литературный критик"
ж. "Колхозник"
"Литературная газета"
ж. "Детская литература"
10. А. Фирсов (1938-1940) - ж. "Литературный критик"
11. А. Климентов 1941 - ж. "Литературное обозрение"
1947 - ж. "Огонек"
12. И. Курдюмов (1944) - ж. "Дружные ребята"

публикации в периодических изданиях,
в альманахах и сборниках

1918

1. ж. "Юный пролетарий" (Воронеж) № 1, 1918, стр. 6. Рабы машин. [Стих. Подпись: А. П.]
2. ж. "Железный путь" (Воронеж) № 2, 5 октября 1918 г, стр. 16-17. Очередной. [Рассказ.]
3. там же, № 4, 15 декабря 1918 г, стр. 8. Поезд. [Стих.]

1919

1. ж. "Жизнь и творчество русской молодежи" № 17, 5 января 1919 г, стр. 3. Над горами. [Стих.]
2. там же, № 19, 19 января 1919 г, стр. 7-8. Об искусстве (Из дневника). [Со сноской: печат. в дискуссионном порядке.]
3. ж. "Железный путь" (Воронеж) № 6, 31 января 1919 г, стр. 11. Вечер после труда. [Стих. Впервые в книге "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
4. там же, № 7, февраль 1919 г, стр. 10. Ночь. [Стих. Впервые в книге "Голубая глубина", Краснодар, 1922]
5. там же, № 8, март 1919 г, стр. 9. У реки. [Стих. Впервые в книге "Голубая глубина", Краснодар, 1922 под названием "На реке".]; стр. 12. Март. [Стих. Впервые в книге "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]
6. газ. "Известия" (Воронеж) № 76, 6 апреля 1919 г., стр. 3. Пролетарская культура. Песнь. [Стих. в прозе.]
7. ж. "Железный путь" (Воронеж) № 9, апрель 1919 г, стр. 13. Тоска. [Стих. Впервые в книге "Голубая глубина", Краснодар, 1922.]; стр. 25-26. К начинающим пролетарским поэтам и писателям. [Статья. Под рубрикой "Из писем наших читателей". Обращение с призывом создать студию коллективного творчества при редакции ж. "Железный путь".]; стр. 27. Библиография. "Красное утро". Орган Орловского Пролеткульта. Лит.-худож. сборн. № 1 [Рецензия. Подпись: А. Пл.]
8. там же, № 10, май 1919 г, стр. 5. Гудок. [Стих. Впервые в книге "Голубая глубина", Краснодар, 1922. В однодневной газете "Предмайский воскресник" 26 апреля 1920 г. под назв.

- "Наш гудок".]; стр. 16. Библиография. "Вестник жизни" 1919, № 3-4. [Рец. Подпись: А. Пл.]
9. еженед. "Пламя" № 58, 22 июня 1919 г, стр. 6. Гудок. [Стих. См. публикацию в ж. "Железный путь" № 10, 1919.]
10. "Красный воин". (Изд. Политотдела Юго-Восточного фронта), 25 октября 1919 г. Война и крестьянство. Статья. [Подпись: А. П. Сведения из: "Материалы". Найти следов такого издания не удалось - В. М.]
11. еженед. "Пламя" № 69, 2 ноября 1919 г, стр. 16. Последний день. [Стих.]
12. газ. "Воронежская коммуна" (Воронеж) № 57, 28 декабря 1919 г. Италии. [Стих. Впервые в книге "Голубая глубина", Краснодар, 1922. Сведения из статьи Г. В. Антхасина "Рождение писателя" в книге: Филологические очерки. (По материалам Воронежского края), Воронеж, 1966 - В. М.]*

**рекомендуем
нашим читателям**



Леонид ГИРШОВИЧ

перевернутый букет

Очерк

Иерусалим, 1978, стр.120

Цена 10 нем. марок

Заказы по адресу:

L. GIRSHOVITCH

8500 Nürnberg

Schürstabstrasse, 11

West Germany



Лев ХАЛИФ

ЦДЛ

Роман

Изд. АЛЬМАНАХ, Лос-Анджелес, 1979

Цена 7 долларов 80 центов

Заказы по адресу:

ALMANAC-Press, P. O. Box 480264

Los Angeles, California 90048

В номере:

анри волохонский, алексей хвостенко Собрание песен. Послесловие Леонида Ентина	4
борис вахтин Летчик Тютчев, испытатель. Повесть	28
алексей лосев Памяти водки. Стихи Послесловие Иосифа Бродского	51
вадим делоне Портреты в колючей раме	69
владислав лен Прогулки. Стихи	86
надежда сдельникова Запятаха слонце. Сказка	95
андрей монастырский Из двух книг (1972-1974). Стихи Послесловие Виктора Тупицына	100
сергей петрунис Иероглифы	104
т. мамонова Заявление	110
"золотое детство" Из журнала "Женщина и Россия" № 1, 1979	111
юрий милославский, константин скоблинский Рассказы для детей	115
андрей платонов Ювенильное море. Повесть	118
михаил геллер Соблазн утопии	174
наше интервью с владимиром максимовым	181
дело михайлова	184
андрей платонович платонов (1899-1951) Биобиблиографический указатель Составитель В.Марамзин	186



ЭХО

Ежеквартальный литературный журнал

Основное содержание - литературный процесс в России в течение последних десятилетий. Проза, стихи, литературная критика. Публицистика. Публикации. Юмор. Более двух третей журнала - материалы литературного самиздата. Многие имена годами работающих в литературе писателей появляются в печати впервые. Единственный в эмиграции журнал, регулярно печатающий библиографические материалы.



ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ:

Условия подписки в редакции - 85 французских франков
(4 номера в год), с доставкой

Университеты и с целью поддержки - 110 фр. франков

В других странах журнал можно приобрести:

В Германии:

A. Neimanis Buchvertrieb, Bauerstrasse 28,
8000 München 40, Germany, tél. 37.05.34

В США и Канаде:

1. Издательство "Ардис", "RLT/Ardis Publishers",
2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104, U.S.A.
tél. (313) 971.2367
2. Mr Edward McDermott, 320 E. 23 Street, New York,
N.Y. 10010, U.S.A. tél. (212) 982.2252
3. Ян Нахамчук, Mr Yan Nahamchuk, 645 Colby CR #C
Claremont, CA 91711, U.S.A. tél. (714) 626.7108
4. Вадим Бытенский, Mr Vadim Bytensky, 751 Steeles,
Avenue West, Unit. 53, Toronto, Canada
tél. (416) 225.48.47

В Англии:

Представительство изд-ва "Посев", "Possev-Verlag",
18 Downs Rd., Beckenham/Kent BR32JY, England

В Австралии и Новой Зеландии:

Михаил Ульман, Michael Ulman, P.O.Box 335, Maroubra,
N.S.W., Australia, tél. 349.84.84

В Израиле:

Ирина Гробман, Irina Grobman, 28 Ephraim str. Bak'a
Jerusalem, Israel, tél. (02) 712.493

В Париже журнал продается во всех русских магазинах
Цена номера - 35 франков



ЭХО • ЕСНО

1979 • ПАРИЖ